

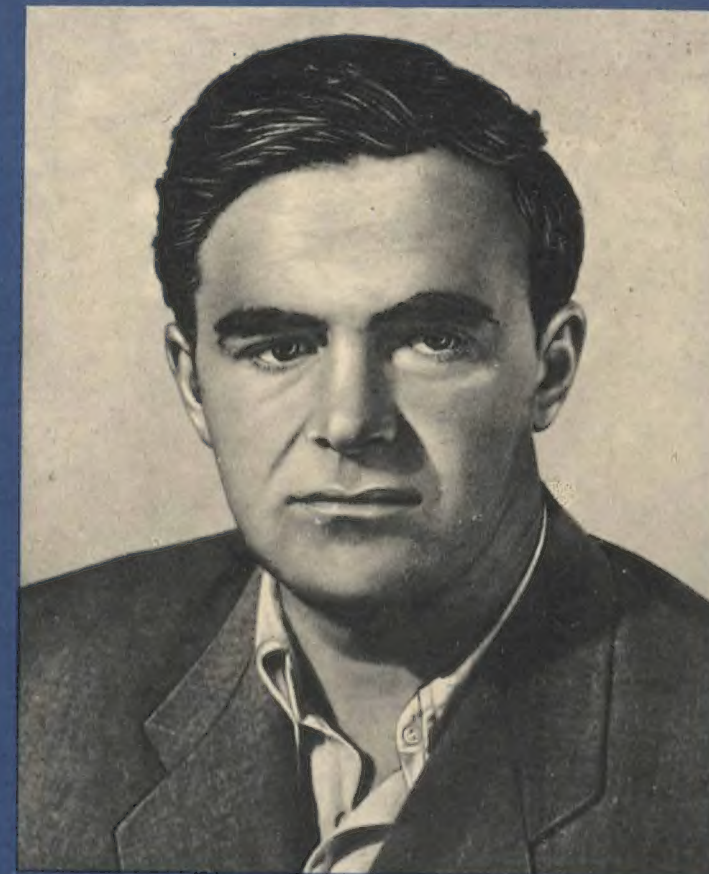
2 р. 45 к.

19

ГОСЛИТИЗДАТ
1959

РОМАН *жизнь*

№7 (187) 1959



Даниил Гранин
ПОСЛЕ СВАДЬБЫ

РОМАН-ГАЗЕТА

7 (187) 1959

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА

Даниил Гранин

ПОСЛЕ СВАДЬБЫ

РОМАН

(Окончание)

ГЛАВА ПЯТАЯ

В девять часов утра райкомовская «победа» подъехала к усадьбе МТС. Первым из машины вылез заместитель начальника областного управления по сельскому хозяйству Кислов. Не оглядываясь, он зашагал к зданию конторы. Настланые через грязь доски звучно хлюпали под грузным шагом. Красное квадратное лицо его было неподвижно, губы плотно сжаты. Руки он держал в карманах кожаного пальто.

Захлопнув дверцу машины, секретарь райкома Жихарев молча последовал за ним. В полутемном коридорчике конторы толпились трактористы.

— Здравствуйте, товарищи! — не останавливаясь, громко сказал Кислов.

На дверях директорского кабинета в деревянной рамке висело объявление: «Прием посетителей по личным делам ежедневно с пяти часов вечера». Кислов с осуждением посмотрел на Жихарева и ногой толкнул дверь.

Чернышев, стоя у вешалки в шляпе и пальто, заматывал вокруг шеи кашне. Надежда Осиповна укладывала в сумку мешочки с семенами.

— Собирались уезжать? А мы к вам в гости, — сказал Жихарев, здороваясь.

Чернышев снял шляпу.

— Пожалуйста! Честь да место.

Кислов сел на стул, широко расставив ноги, положил руку на край письменного стола и, вы-

жидающе глядя на Надежду Осиповну, забарабанил пальцами.

— Сидите, сидите, — сказала Надежда Осиповна, — у меня никаких секретов нет.

Жихарев отвернулся, скрывая улыбку.

— У вас и не может быть никаких секретов от руководства, — с полной серьезностью сказал Кислов.

— А если я своему директору в любви открылась? — И она бойко усмехнулась, отчего грубоватые черты ее рябого полного лица с ярко накрашенным ртом, с тонкими подведенными бровями стали вызывающе бесстыдными.

— С вас станет... — Кислов тяжело и подозрительно уставился на нее. — Ладно, некогда тут шутики шутковать!

— Это верно: не шути тем, что в руки не дается. — Надежда Осиповна подошла к вешалке. Чернышев снял нарядную шубку из коричневой цигейки, подал ей.

Надежда Осиповна не торопясь застегнулась, стянула отвороты на высокой, полной груди.

— Ох, и скучно же с вами, товарищ Кислов!

Она обернулась к Чернышеву. Ленивая улыбка ее исчезла, голос зазвучал деловито и сочувственно:

— Видно, на льностанцию нам с вами уже не поспеть. Вы не беспокойтесь, я сама съезжу!

Когда она ушла, Кислов сказал:

— Я б на вашем месте ей давно язык прицемил.

А вы тут шуры-муры разводите. Пальто подаете.

— Она женщина, — сказал Чернышев.

Кислов хмыкнул:

— По этому пункту она всему району известна...

— Она хороший агроном.

— Ладно, тебя не переспоришь. Ты лучше доложи, что вы насчет Писарева порешили.

Губы Чернышева досадливо дрогнули, но движение это тотчас спряталось за невозмутимой готовностью, с какой он достал из кармана бумаги и разложил их на столе.

Он заговорил сжато, с той точно отмеренной долей беспристрастности, которая действует наиболее убедительно. Вчера на партбюро зашла речь о Писареве. После приезда Малютина стала как-то особенно ясна неприспособленность главного инженера. Не прижился человек, и сам маялся, и дела не делал, и от дела не бегал. На него не злились, наоборот — жалели: шутка ли, совсем от семьи отлучен, и совесть грызет, и тоска крутит. На это место настоящего бы хозяина, к примеру, специалиста по строительству. А то мытарят без всякой пользы — ему горе, и кругом путаница одна. А главное, жалко, испортили хорошего человека, запьет он всерьез. Чернышев понимал и другое: Писарев — теоретик, по складу своего ума далек от производства, перевоспитывать его бесполезно и не нужно. Решили на бюро — просить об освобождении Писарева, пусть подает заявление об уходе.

— Подал? — спросил Кислов.

— Да.

— Покажи.

Чернышев протянул ему бумагу.

Кислов прочел, протянул Жихареву.

— Хорош документик! Полюбуйся!

Не обращая внимания на угрожающий тон Кислова, Чернышев вежливо справился, нельзя ли сейчас узнать мнение Кислова о просьбе парторганизации.

— Хочешь подготовиться? Понимаю твои маневры. — Кислов откинулся на спинку стула. — Я вас раскусил, уважаемый Виталий Фаддеевич. Вы полагаете, мы вам разрешим поощрять дезертиров. Сегодня Писарев, а завтра вы сами подадите заявление. — Кислов встал, голос его гремел. — Не выйдет! Заставим работать. Ваши обязательские сочувствия выкинуть. Вы мне бросьте кадры разлагать. Ты соображаешь, что это значит? Стоит Писарева отпустить, все остальные побегут, не удержишь. У меня в области сотня с лишним посланцев. Какой пример для них?

— Я надеюсь, у вас нет оснований для таких серьезных обобщений.

— А за то, что ты покрываешь Писарева, тебе тоже придется отвечать. — Он сел и миролюбиво, даже несколько выжидательно спро-

сил: — Ну как, обязательства по срокам ремонта приняли?

— Нет, мы совсем другие обязательства взяли.

По загадочно-неподвижному лицу Кислова никогда нельзя было понять, как относится он к словам собеседника; ничто не оживляло его тяжелые черты. Чернышев старался смотреть поверх фуражки Кислова, в окно, на блистающую, словно смазанную солнцем гладь полей. От свежевыпавшего снега слепило глаза, время от времени Чернышев поднимал очки, вытирал платком набегавшие слезы.

Зима не собиралась сдаваться. Несмотря на апрель, она не отступала. Она играла с весной, лукаво и смиренно затаивалась в тени оврагов, всхлипывала и плакала под теплым солнцем ручьями густой талой воды, позволяла пригреться на прогалинах летней траве. А потом, ухмыляясь, вздымалась пургой, мела, не утихая, сутками, яростно заваливая снегом облезлые склоны, крыши, дороги, похваляясь своей неистраченной силой, пригибала к земле молодые ели. И весна исчезала, заметенная сверкающим снегом.

Сводки долгосрочного прогноза сбивчиво обещали ростепель к началу мая. Старики сулили затяжную весну: если на благовещение снег на крышах, так и на Егории будет в поле. Сроки посева явно отодвигались, и Чернышев решил хитро использовать непогоду для реконструкции мастерской: наладить стенды горячей обкатки, установить мойку; на техническом совете договорились сменить рамы, усилить ходовую часть у нескольких тракторов «КД», подготовить запасные двигатели — быстро набрался солидный перечень работ, которые помогли бы обеспечить безаварийную работу. Трактористы привыкли к тому, что в мастерских стараются поскорее «вытолкнуть» трактор, они перегоняли трактор к себе в стан и неделями еще возились с доделками, заменяли негодные части. Но много ли сделаешь на полевом стане? На второй день после выезда в поле начинались аварии: летели бортовые, вышибало сальники, разлаживались насосы, текло масло...

Рассказывая, Чернышев вдруг уловил холодный запах махорки, который держался в кабинете со вчерашнего вечера. Бригадыры подолгу обговаривали каждую работу, рязались, спорили, разохоченные надеждой получить омоложенные машины, стенды, на которых можно проверить и двигатели и аппаратуру. Расписали подробный график приведения машин в порядок, почему-то всем понравилось это выражение — не «ремонттировать», а «привести в порядок».

...Короткие пальцы Кислова отбивали громкую дробь. Этот нетерпеливый, тупой стук мешал Жихареву сосредоточиться. Идея Чернышева привлекала его хозяйской разумностью.

Несколько месяцев совместной работы с Чернышевым многому научили Жихарева. Он присматривался к этому необычному в их краях человеку с острым любопытством, настолько открытым, что Кислов прямо обвинил: «Попал под влияние. Танцуешь под дудку Чернышева!» И Жихарев усомнился: может, его интерес к Чернышеву означает признание собственной слабости? Он стал замечать, как Чернышев тактично и незаметно поправлял его, помогал даже в чисто партийных делах.

Ничего удивительного в этом не было: Чернышев вступил в партию в 1932 году, когда Жихарев только начал ходить в школу. Чернышеву приходилось работать секретарем парткома в организации, где коммунистов насчитывалось больше, чем во всем Коркинском районе. Он имел высшее образование, руководил несколько лет крупной лабораторией, затем опытным цехом. Правда, сравнивая себя с Чернышевым, Жихарев мог считать себя специалистом сельского хозяйства. Он был из здешних, родители его до сих пор работают в Чапаевском колхозе. Вся жизнь его прошла в деревне. Но и это единственное преимущество Чернышев быстро и методично сводил на нет. Приехав в МТС, он первым делом поставил в кабинете разгороженный перегородочками большой ящик. В отделения насыпал семена льна, тимофеевки, клевера, овса, пшеницы. Посетителей заставлял экзаменовать его — определять семена по внешнему виду; сейчас он узнает их уже с закрытыми глазами, на ощупь. С навыком человека, привыкшего учиться, он добросовестно изучал агротехнику, разъезжал по колхозам, рылся в бухгалтерских отчетах, неукосно следуя какой-то своей продуманной системе.

Из города Чернышев привез библиотеку. Жихарев бывал в домике Чернышева. Стеллажи, заполненные книгами, закрывали все стены. История, философия, русские классики, особенно много книг по истории живописи. Живопись была страстью Чернышева. У себя в кабинете, в конторе, он повесил великолепные репродукции картин Сурикова и Серова. Вовлек Жихарева в хлопоты по реставрации фресок в старинной часовне у Любич. Он весь расцветал, когда Жихарев спрашивал о запасниках Русского музея в Ленинграде.

От Чернышева исходило волнующее дыхание малоизвестного мира науки, искусства, где устраивались выставки картин, симфонические концерты, дискуссии — то, о чем Жихарев знал понаслышке либо по редким, случайным посещениям. Жихареву приходилось тянуться изо всех сил, чтобы не попасть в смешное положение.

Его отношение к Чернышеву было прослоено дружелюбием и настороженностью, восхищением и завистью, желанием подражать и действовать наперекор.

Порой Жихарев с облегчением укрывался за самоуверенностью Кислова, не доступной никаким сомнениям. МТС находилась в прямом подчинении Кислова, и тут Кислов волен был распоряжаться. Тем более что график ремонта вносил Жихареву некоторые опасения: за многие годы в районе укоренилась привычка любой ценой, кое-как, лишь бы закончить ремонт досрочно.

Кислов перестал барабанить, посмотрел на свои пальцы и спросил:

— Вы что же, хотите утянуть ваш район на последнее место в сводке?

— Мы о сводке ремонта не думали, — терпеливо сказал Чернышев, — мы думали о сводке урожая.

— Противопоставляете? Качество ремонта противопоставляете количеству. Любите вы заниматься противопоставлениями.

— Простите меня, я не люблю придерживать формальной логики. Переоборудование мастерской позволит нам в самую горячую пору ликвидировать аварии в полтора-два раза быстрее. Привести в порядок тракторы — это займет у нас две недели. Мы установили для себя самый жесткий срок. Природа нам отпустила эти две недели, времени хватит с избытком. Что же вас пугает? Давайте обратимся в обком...

— Мы как-нибудь сами сообразим, куда обращаться, — перебил Кислов. Неуязвимая вежливость Чернышева все больше ожесточала его.

Когда-то, по приезде Чернышева, Кислов искренне обрадовался: инженер, непьющий, уехал из Ленинграда напрочь, с женой. Кислов прощал неуместную, раздражающую интеллигентность, которая в Чернышеве чувствовалась во всем, начиная от велюровой шляпы, кончая утомительной учтивостью. Ни в чем он не желал приноравливаться к стилю, установленному Кисловым. Ради дела Кислов терпел, не обращал внимания на мелочи: например, несколько не обиделся, когда Чернышев не принял обращения на «ты». Сквозь пальцы смотрел на первые огрехи Чернышева, защищал его от нападок. Обрадовался, что выбрали Чернышева в бюро райкома. Когда все это было? С тех пор, казалось, годы прошли, а не месяцы...

Давно уже Кислов не мог без раздражения разговаривать с Чернышевым. Более всего возмущала его в Чернышеве независимость. Кислов привык и любил, чтобы к нему обращались. Чернышев же старался действовать сам, не согласовывал, редко приезжал за установками; случалось, и с прямыми указаниями Кислова спорил. Взять хотя бы это объявление на двери о приеме посетителей. В свое время Кислов, увидев, рассмеялся: зачем еще эти чиновничьи порядки? Чернышев пожал плечами: у каждого свой стиль работы. На областном совещании Кислов ясно дал понять, что в районе хватает собственного бюрократизма, не стоит Чернышеву добавлять сюда городского. И что же оказалось? Чернышев

не сделал никакого вывода, продолжал принимать в определенные часы и утверждал, что механизаторы довольны: удобно, мол, обговорить свои дела вечером, когда директора никто не тревожит. И так во всем.

Самостоятельность Чернышева проявлялась все явственнее, заражая и других директоров МТС. Дело дошло до того, что Чернышев выступил на областном совещании с критикой в адрес Кислова и призвал искать новые формы взаимоотношений МТС с колхозами. Пришла пора одернуть Чернышева, указать ему свое место.

— Я был бы вам обязан, если бы вы разрешили изложить некоторые цифры, — сказал Чернышев, усаживаясь за стол и раскладывая бумаги. Жихарева восхитило неуязвимое, ровное упорство этого воспитанного, всегда тактичного человека. Он подсел к Чернышеву, желая как-то возместить своим вниманием грубость Кислова. Ему было неудобно перед Чернышевым за то, что Кислов все время говорил «мы», насильно присоединяя к себе Жихарева. Но вскоре он забыл о всех своих соображениях, захваченный простотой доводов Чернышева. «А что, ежели рискнуть? — подумал Жихарев. — Ну, останемся мы на последнем месте по срокам ремонта, — зато проведем посевную без поломок, быстро...»

Он так и сказал об этом, решительно поддерживая Чернышева. Кислов, неодобрительно глядя на его румяное, оживленное лицо, прервал:

— И ты, партийный работник, клюешь на эту бухгалтерию? Грош цена этим цифрам. Кто будет их осуществлять? А тут еще главного инженера собираются отпустить. А потом ссылаться будут: ничего, мол, не вышло, не обеспечил райком нас главным инженером. Вы, Виталий Фаддеевич, политик, но и мы тоже не лаптем щи хлебаем.

— Почему вы меня все время в чем-то подозреваете? — устало спросил Чернышев.

— А как же иначе? Что это вам загорелось переоборудовать старые мастерские? Будете строить новые, вот там и устанавливайте станды.

— А пока пусть они валются, ржавеют?.. Мы, дай бог, через год закончим строительство.

— Вот и будет у вас стимул торопиться. А эти ваши затеи не вовремя, только людей демобилизуете, силы распыляете. Завтра вы, может быть, надумаете переделывать колесники на гусеничные, и мы тоже вас обязаны поддерживать? А когда спросят с вас, сошлетесь на Кислова, он-де санкционировал? Нет, дорогой товарищ Виталий Фаддеевич, есть указание — и будьте добры выполнять его. Ясно?

— Ясно, но не убедительно, — улыбнулся Чернышев.

— Ни я, ни Жихарев вас убеждать не намерены.

— Напрасно. — Чернышев поправил очки и посмотрел в лицо Кислову. — Это мне разрешено

приказывать, я администратор, Жихареву же вроде по штату положено убеждать.

— Согласен, — сказал Жихарев, наклоняясь к бумагам и пряча довольную улыбку.

Чернышев устало прикрыл глаза. Удивительная вещь: при встречах с Кисловым у него всегда быстро возникало чувство утомления, а ведь он был человек выносливый, тренированный. Конечно, поспорить проще простого. А вот найти возможность столкнуться — это труднее. Чернышев представил себе, сколько времени и сил может отнять у него бесполезная война с Кисловым, и заставил себя примиряюще улыбнуться.

— Игнатий Васильевич, не приложу ума, как мне вас склонить к доверию. Клянусь вам, что мы не меньше вашего заинтересованы в ремонте. Пятнадцать голов сидели, потели. Они ж академики по здешней земле.

— Считаете себя непогрешимыми? А я вмешивался, дорогой товарищ Чернышев, и буду вмешиваться. Доверяй, да проверяй! — Кислов хлопнул рукой по столу. — Я отвечаю перед партией. Я знаю, вы не прочь превратить меня в главноуправляющего. Чтобы ходил вокруг вас и агитировал. Беседы проводил. Нет, Виталий Фаддеевич, вы первый нас заговорите. Да только соловья баснями не кормят.

— Басни?

— Да, да, сулите нам золотые горы. Кто тонет — топор сулит, а вытацишь — и топорница жаль. — Кислов отрывисто засмеялся. — Нет, нам лучше синицу в руки. Вот как! Есть у вас главный инженер — сумеете заставить его работать.

Чувствовалось, что Кислов напирал на историю с Писаревым, желая отыграться на этом. Он сводил все к ней, пользуясь тем, что у Жихарева еще не составилось определенного мнения. Доводы Кислова звучали вполне убедительно: в конце концов пусть даже проектировщик, но Писарев — опытный инженер, коммунист и должен работать, да и в обкоме могут отнестись к такому прецеденту отрицательно.

Несмотря на повелительную категоричность тона, Кислову никак не удавалось поставить Чернышева в положение просителя. Вместо того чтобы оправдываться, Чернышев спокойно пояснял.

— Доверие приносит большие выгоды, чем подозрительность, хотя на недоверие некоторые руководители тратят куда больше сил и способностей. Им кажется, что доверие устраняет смысл руководства. Руководство рождается из знания, а не из недоверия. Контролируйте, но доверяйте. Ленин даже буржуазным специалистам поручал составлять план ГОЭЛРО и не указывал, где какие ставить станции. А у вас, в Коркинском районе, на тридцать восьмом году советской власти не доверяют коммунистам порядок навести в ремонте тракторов. И с Писаревым тоже. Справимся без него.

— «У вас»! — подхватил Кислов. — В том-то и дело, что вы говорите: «У вас...» Вам этот район чужой. А я сюда четыре года жизни вбухал. — Он оглянулся на Жихарева, призывая его в свидетели. — Ни одного воскресенья не помню, когда бы отдыхал. — Необычно волнуясь, он взмахнул руками и замолчал.

— Да, да, — энергично кивнул Жихарев, испытывая обиду за Кислова. Как бы там ни было, Кислов не щадил себя. По-своему любил этот район, вложил сюда немало сил, здоровья. Жихарев собирался сказать Чернышеву, как вместе с Кисловым не раз приходилось мотаться по колхозам, неделями не заезжая домой, спать на ходу в машине; они не признавали никаких неудобств или трудностей и считали это доблестью. Но ничего не сказал. При чем тут прошлые заслуги? И то, что Кислов цеплялся за прошлое, — в этом было его бессилие перед Чернышевым. Глядя на Кислова, Жихарев видел в нем и самого себя в прошлом. Его охватило чувство жалости и даже испуга оттого, что он, Жихарев, еще недавно был таким же; сейчас Кислов казался ему нелепым, старомодным. Он ничего не понял, ничему не научился. Он явно мешал. Жихарев с болью думал об исторической трагедии этого, по-своему честного человека, с которым его так много связывало.

Нарушив неловкое молчание, он сказал совсем не то, что собирался сказать:

— Насчет «у вас» — это Виталий Фаддеевич оговорился. Ну, ничего — обмолвка не обида.

Но Чернышев, видимо, не чувствовал никакой неловкости.

— Нет, нет, я не оговорился, — сказал он. — Район мне не чужой, хотя я не смею равняться с аборигенами и тем более с вами, но методы ваши, Игнатий Васильевич, для меня действительно чужие. — Он повернулся к Жихареву, и глубокие складки усталости на его лице разгладились. — У нас на комбинате начальнику главка никогда в голову не придет вмешиваться в заводскую технологию. Например, устанавливать сроки плавки, поправлять специалистов. На то они и специалисты. Мне кажется, нашему управлению надо искать какие-то новые формы работы.

Кислов поднялся, грузный, в черном кожаном пальто, словно отлитый из чугуна.

— Вы много берете на себя. Со своей МТС не справляетесь, а собираетесь порядки наводить в области. Я вам прямо скажу: складывается впечатление, что вы нарочно придумали видимость инициативы, потому что не можете обеспечить установленные сроки ремонта. Не устраивают вас наши порядки? Мы их к вам подлаживать не будем. Придется привыкать. И советую — поскорее.

До этой минуты Жихарев не терял надежды на компромисс. Продолжай Чернышев настаивать на своем графике, Кислов покричал бы, заставил кое в чем поступиться, распушил бы Чернышева,

и на этом все бы кончилось. Теперь же спор расширился до принципиального. Подобный открытый вызов Кислов не простит, тут примирения не жди. Зачем Чернышев идет на это, да еще накануне посевной? В действиях Чернышева была обдуманная решительность и какой-то расчет, связанный с ним, Жихаревым. Правота Чернышева, спокойное мужество, с каким он стоял на своем, привлекали Жихарева, но где-то внутри его грызло чувство обиды за Кислова.

Много лет они работали вместе в этом же Коркинском районе. В то время, когда Жихарев был инструктором, Кислов работал уже председателем райисполкома, и Жихарев привык смотреть на Кислова как на своего руководителя, на человека, который имеет право указывать, поучать. Право это он признавал за Кисловым не только в силу его должности, но и тех его качеств, которыми, несомненно, Кислов обладал и которые раньше казались Жихареву решающими качествами руководителя.

С тех пор многое изменилось. После пленума ЦК Жихарев требовательно пересмотрел свой стиль работы и все же, встречаясь с Кисловым, он невольно попадал под власть привычного, давнего авторитета. Этому способствовал и сам Кислов: приезжая в Коркинский район, он держался здесь хозяином, как будто он по-прежнему был руководителем района, а Жихарев всего лишь инструктором. Несколько раз Жихарев шутиливо, но твердо ставил Кислова на место, но полностью освободиться от властного, бесцеремонно превышающего все полномочия вмешательства ему было нелегко. Может быть, потому, что район пребывал еще в отстающих, и самоуверенность Кислова, постоянные ссылки на обком заставляли искать в указаниях Кислова какие-то более верные методы работы. Может быть, потому, что, противодействуя Кислову, он должен был бороться с самим собой, в нем оставалось еще слишком много от Кислова.

— А я все же подожду привыкать, — заключил Чернышев, глядя на Кислова. — Не теряю надежды, что вы согласитесь со мною. Правда... — он остановился в сомнении, — англичане утверждают, что надежда — хороший завтрак, но плохой ужин.

Подозрительный взгляд Кислова перекинулся с Чернышева на Жихарева и обратно. Поговорку он не понял, но уловил в ней скрытую насмешку.

По дороге в мастерские, глядя на массивный затылок Кислова, Чернышев думал о том, что намеченный распорядок дня рухнул: на льностанцию не поехал, к директору кирпичного завода не успеет, сегодня последний день подавать заявки на кирпич. С кирпичного завода он хотел заехать в райком, показать график и посоветоваться о Писареве. Мысль о бессмысленно упущенных кирпичах не давала ему покоя. «Почему, почему мне тут не доверяют? — с обидой думал он. — Как же

работать в таких условиях?» Он представил себе утомительную тяжбу, которая ожидала его. «А ведь Кислов был бы рад, если бы вместо Писарева уехал я», — подумал он и развеселился. Это его сразу успокоило, и, улыбаясь, не обращая внимания на угрюмо-недоуменный взгляд Кислова, на мучительную сосредоточенность ушедшего в себя Жихарева, он начал любезно и радушно рассказывать о намеченной реконструкции.

Обходя мастерскую, Кислов замечал теперь и чистоту и больший порядок. По всей видимости, дела здесь шли лучше, куда лучше, чем раньше, и это смущало его, потому что происходило независимо от него: район продолжал пребывать в отставших, но где-то, и в соседнем районе и здесь, что-то поворачивалось, что-то назревало независимо от его усилий, по каким-то неизвестным, непонятным ему путям. Жизнь в мастерских и на центральном ремонтном заводе двигалась не только благодаря его распоряжениям, телефонным звонкам, установкам — в ней проявились какие-то внутренние силы, и силы эти действовали самостоятельно, обходя его запреты, предвосхищая постановления ЦК. Управлять этими силами надо было по-новому; как именно, он не знал. Ему казалось, что люди, подобные Чернышеву, добиваются только одного: чтобы он отказался управлять ими. Этого он допустить не мог. Он обязан был сломить их, заставить их подчиниться.

— Где же ваш начальник мастерских шаптается? — спросил Кислов.

— Будьте любезны, позовите, пожалуйста, Игоря Савельевича, — попросил Чернышев.

— Ну, как сальники, пробивает? — расспрашивал Кислов у трактористов. Жихарев вспомнил, что Кислов, обходя мастерские, всякий раз спрашивался о сальниках и балансирах.

«Примитив, какой примитив! — думал Жихарев. — А все потому, что мы еще безграмотны в технике».

— ...Вот так-то, дорогой товарищ Яльцев, — говорил Кислов, — в прошлом году мы были неопытны. Недооценили камни. Сколько из-за них поломок было! Нынче мы за это дело возьмемся.

— Это хорошо. Камни у нас первый враг.

Жихареву показалось, что в светлых глазах Яльцева вспыхнул и погас неуловимый озорной смех.

«Так ведь он с детства привык подкапывать и возить с поля камень, — думал Жихарев. — Это ж извечная беда наша. Как же можно так говорить: «Недооценили». Кто недооценил? Мы и недооценили. При чем тут Яльцев? С ним просто никто не советовался. Ни с ним, ни с другими. А народ все знал и понимал. И тому же Кислову говорили. Но для него это все — ничто. Пока не всыпали как следует в обкоме. Теперь вот ему ясно — камни убирать надо. А ведь Кислов сам станвится таким же камнем. Нет, прошлое дол-

жно оставаться в прошлом, иначе оно делается помехой».

— Вы показали бы Игнатию Васильевичу вашу камнедробилку, — попросил Чернышев.

Яльцев смущенно оглянулся на подошедшего Малютина.

— Пусть лучше они-расскажут. Игорь Савельевич лучше знает.

— Эх ты, изобретатель! — рассмеялся Жихарев. — Камни хочешь крошить, а труса празднуешь.

Еще в прошлом году Яльцев замыслил легкую, переносную дробилку. Поставить такую на камень, завести — и камень треснет на несколько частей. Обломки убирать куда легче, чем тащить огромные, вросшие в землю валуны. Он даже принялся было мастерить, но никак не получалось нужной силы. Так и стояло сооружение под сварочным навесом, пока этим не заинтересовался Малютин. Он посоветовал Яльцеву добавить пружинную тягу.

Кислов неодобрительно потрогал остов будущей дробилки. Конечно, инициатива, изобретательство — вещь хорошая, да только не ко времени это. Вот на что энергия уходит, вместо того чтобы прямым делом заниматься. Тем более что он договорился с предприятиями мобилизовать весною людей из города специально на очистку полей, обещали ему и студентов прислать. С таким трудом добился, ждал, что здесь, в Коркине, обрадуются, станут благодарить, и вот пожалуйста — ничего этого им не нужно, а Чернышев, тот даже заявляет, что там, где можно обойтись своими силами, не к чему поощрять иждивенчество.

— Вы не беспокойтесь, товарищ Кислов, мы дробилку сделаем, — сказал Малютин.

Веселое, самоуверенное вмешательство этого мальчишки показалось Кислову оскорбительным. Только приехал и тоже наводит новые порядки. Стронт из себя крупного специалиста. Вместо того чтобы взяться как следует за ремонт.

Малютин слушал его выговор с тем напряженным вниманием, к которому Кислов привык. Рот его полуоткрылся, руки безостановочно мяли тонкую латунную полоску.

Кислов вдруг почувствовал, как под напором его попреков Малютин доверчиво поддался, готовый согласиться делать так, как скажет он, Кислов.

— Я полагал, что тут так же, как у нас на заводе, — огорченно оправдывался Малютин. — Мы там сами планировали ремонт станков.

Огорчение этого паренька утешало Кислова.

— Мы вам тоже не планируем ремонт станков, — доброжелательно сказал он.

— Так ведь тут то же самое! — Малютин с искренним недоумением оглянулся на Чернышева.

— Правильно, — кивнул тот. — У нас тракторы — все равно что на заводе станки. И то и другое дает основную продукцию.

— А ваши станки? — заинтересовался Жихарев.

— Это — вспомогательное оборудование.

— Понятно, — сказал Жихарев. — Но на заводе продукцию планируют на каждый месяц. Так что каждый месяц дает показатели работы.

Все трое оживленно заспорили, позабыв о Кислове. Искреннее недоумение, с каким Малютин обратился к Чернышеву, больно поразило Кислова. Оно означало разочарование, горестные, недоверчивые вопросы: как же так — Кислов, начальник, и не разбирается в таких простых вещах, ясных даже Малютину?

Тракторы без кабин, без капотов, со снятыми гусеницами казались раздетыми, беспомощно дрожащими от холода. В дымной глубине мастерской запускали двигатель. Выхлопная труба то оглушительно стреляла черными клубами, то выталивала волнистую струю синего дыма. Взрывы сливались неразличимо-быстрой трелью. Кислов пошлепал рукой по маслянистому вздрагивающему двигателю, спросил, когда машина поставлена на ремонт. Осуждающе покачал головой — конаетесь! Не слушая пояснения Чернышева, он мрачно шествовал по мастерской, отпуская на ходу отрывистые замечания, показывая всем своим видом, что, как он и ожидал, в мастерской хватает беспорядка: на земле валяются детали, машины ремонтируются медленно, соревнование поставлено плохо, нет подъема.

Он строго предупредил Малютина об ответственности за выполнение сроков ремонта. Не чувствуется напряжения и тревоги за посевную. Гудки, табель, номерки — разгуделись на весь район. Не так следовало бы себя проявлять молодому специалисту, да еще, наверное, комсомольцу.

— Плохо работаешь, — сказал он, давая выход накопленному раздражению. — Небось чемоданное настроение? Мечтаешь, как бы в город податься?

Малютин молчал, опустив голову.

— Ну, признавайся, — с внезапным интересом настаивал Кислов. — Вернулся бы с удовольствием?

— Конечно, вернулся бы, — обиженно сказал Игорь.

— Вот то-то и оно, не прирос ты еще! — Кислов победно оглянулся на Чернышева.

И всю дорогу из МТС, сидя в машине, он внушал Жихареву, что стоит только отпустить Писарева, как сразу же такие, как Малютин, запросятся, побегут в город. Со стороны Чернышева это ловкий маневр: хочет застраховать себя, переложить ответственность за будущие неполадки на райком, на область и заодно составить себе репутацию этакого человеколюбивого, душевного деятеля.

Жихарев не спорил, но его необычное, неподатливое молчание встревожило Кислова.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Командировку Игорь получил совершенно неожиданно. После наезда Кислова ему казалось: придется свернуть все начатые работы, прекратить всякое переоборудование, переделку тракторов — и вдруг вместо этого Чернышев предлагает: «Будьте добры, поезжайте в область, доставите все, что нас держит». — «Но, Виталий Фаддеевич, а как же?..» — «А так же... Никогда нельзя останавливаться на полдороге. Полурешение — самое неудачное из всех решений».

Мужественный человек этот Чернышев, ему все нипочем.

Закончив дела, Игорь не спеша шагнул к вокзалу. Командировка прошла отлично, и теперь было стыдно вспомнить, как Чернышев уговаривал и подбадривал его.

До отхода поезда оставалось полтора часа. За хлопотами он толком не успел осмотреть город. По булыжной мостовой, мягко подпрыгивая, неслись новенькие красно-желтые автобусы, многочисленные, такие же, как в Ленинграде, и старенькие, голубые, дребезжащие. На огромной, уже пустеющей базарной площади стояли возы с сеном, визжали в мешках поросята, бились куры. Из собора, крестясь, выходили старушки в черных платочках. Белый с зелеными куполами собор высился на крутом берегу реки, откуда шел спуск к маленькому лыжному трамплину. Игорь заметил трамплин еще из окон областного управления и украдкой вздохнул. Низкие, вросшие в землю дома делали улицы широкими. Во дворах бродили собаки, куры, на крышах торчали антенны. К желтоколонному Дворцу культуры сходилась молодежь — местные франты в синих макинтошах с поднятыми воротниками, в щелковых кашне и хромовых сапогах. Игорь насмешливо прищурился — провинция, не поймешь: не то село, не то город. Но все же это был город, настоящий город, и глаза Игоря жадно вылавливали все городское: афиши театра, башенные краны, газетные ларьки, трубы заводов. Его волновал сладковатый дымок автомобилей, и эта молодежь, и витрины. Он отвык ступать по каменной панели так, чтобы слышать стук каблука. Если бы не Тоня, он остался бы на вечер в городе, сходил бы в кино, а то и в театр. Но он представил себе, как Тоня сегодня третий вечер будет скучать одна, и, нахмурясь, зашел в магазин, купил ей второй флакон духов.

На вокзале в ресторане он увидел Пальчикова. Игорь подсел к нему. Пальчиков тоже возвращался из командировки вместе со своим бригадиром Игнатьевым и сухонькой женщиной, которую они звали Прокофьевной. Они обрадовались Игорю, налили ему полстакана водки, подкрасили для приличия вишневым лимонадом, отобрали у него все свертки с покупками и требовательно

понукали, пока он не выпил весь стакан и не закусил огурцом и лепешкой, подsunутой ему Прокофьевной. Кисловатая лепешка, начиненная картошкой с грибами, пахла холщовой тряпичей. Запах этот придавал лепешке особый, приятный вкус, и от этого по-домашнему приветливого запаха, от заботливых коричнево-сморщенных, чистых рук Прокофьевны, от раскатистого голоса Пальчикова Игорь почувствовал себя среди своих, как будто он встретился с земляками на чужбине.

Пальчиков хвалился добытыми семенами особенного сорта льна. Игорь вытащил накладные, ему тоже не терпелось похвастаться. В областном управлении удалось все-таки выпросить рамы, сварочный аппарат, сверлильный станочек. От Игоря пробовали отделаться, но он держался настойчиво, он спросил инспектора по механизации: кто для кого существует, кто кого должен обслуживать? Он пробился к главному инженеру управления и, нисколько не смущаясь, спокойно повторил свои требования, даже попросил призвать к порядку инспектора.

Великолепно самочувствие человека, ради которого существует этот большой дом со множеством кабинетов, пишущими машинками, несгораемыми шкафами, телефонами, инженерами. Вроде мальчишка, техник, приехал из какой-то дыры, а вот имеет полное право не просить, а требовать, и может спорить с кем угодно, хоть с главным инженером, потому что никто тут лучше него не знает нужд мастерских, и лично он ни в чем не зависит от всех этих людей, ни к кому ему не надо подлаживаться. Кто прав, тому ничто не страшно. Вероятно, эта твердая уверенность действовала на людей. Дали даже мойку, на которую он не рассчитывал. Полсотни быстрорезов, гибкий шланг для камнедробилки. Не нужно будет самим кустарничать с мойкой. Поставим ее в тамбуре. Кончится наконец мытье вручную. Муха это, а не мытье. У Лены Ченцовой руки содой разъело — страшно смотреть. А тут сунем в мойку, включим мотор, жик-жик — и готово, вынимайте чистенькую детальку...

— Вы кушайте, угощайтесь, вот кокорочка, — сказала Прокофьевна и положила в его вытянутую руку лепешку.

— Ты чего за ним ухаживаешь? — расхохотался Пальчиков. — Это из-за него у нас трактора будут стоять. Он наш главный обидчик. Верно, Елисеич?

Игнатев, угрюмого вида пожилой человек, с черной, диковато-разбойной бородой, усмехнулся неожиданно белозубой огромной улыбкой.

— С него весь спрос впереди. Может, и он с нас спросит. Наперед не угадаешь, кому по ком плакать.

— Пока мы по ним слезы льем. Они нам воду льют, а мы слезы! Не торф возили на поля, а воду. Поля водой удобрял, а? — похохатывал

Пальчиков, беззлобно нападая на Игоря. — А кому на них пожалуешься?

Подмигнув Елисеичу, он принял таинственный вид и, глубоко вздохнув, наклонился к Игорю, советуясь, стоит ли покупать молотилку и конную жатку. Елисеич и Прокофьевна, мол, уговаривают его и даже спавают, подбивая на покупку. Глаза его плутовато мерцают.

— Вы что ж это, на нас не надеетесь? — спросил Игорь. В лукавости Пальчикова чувствовался розыгрыш, рассчитанный на то, что Игорь обидится. И, понимая это, он все же не мог удержаться от обиды.

— Скажи на милость, догадался! — захохотал Пальчиков. Он не умел улыбаться. Как только Игорь начинал наседавать на него, пытаясь узнать, шутит он про покупку или всерьез, Пальчиков хохотал, глаза его прятались в узких щелках смеженных век. Он обнял Игоря и сообщил ему: — Погоди, ты меня не знаешь, на будущий год разживемся и трактор себе справим. А? Тогда как?

Из-под тяжелых бровей Игнатев недовольно косился на своего разболтавшегося председателя.

— Летось так вышло, — сказал он, — прислали комбайн, когда зерно сыпалось да дожди перемочили. Одну солому собрали. А денежки отдай МТС полностью...

— Нынче людей обманывать не годится, — сказала Прокофьевна, — посулили порядок навести, народ надеется.

Игнатев, положив на колено тяжелую руку, объяснял, что все равно трактора дольше стоят, чем работают. — Шестьдесят сил лошадиных, и ни тпру, ни ну из-за какой-нибудь железяки. И никого из них не отпряжешь. А конь что, справный конь в одну свою лошадиную силу пыхтит круглый год и никаких тебе подшипников.

По тону его Игорь понял, что вопрос о покупке машин решен. Это обидело его.

— Мы стараемся, а вы... — Он вдруг обозлился, схватил Пальчикова за пиджак. Кто дал право тратить деньги общественные впустую? Против техники идете! Шутка ли, столько денег! — Он то грозился рассказать колхозникам, пожаловаться Чернышеву, то умолял Пальчикова поверить, что с тракторами все будет в порядке.

— Ты почему мне не веришь? — твердил он. — Я тебя что, подводил? Нет, ты скажи, подводил?

— Над твоим словом еще господа есть, — поддразнивал его Пальчиков. И таинственно добавлял: — У меня проект есть. Самим хозяйевать. Без вашей МТС.

В ресторане было жарко, пахло паровозным дымом и кухонным угаром, радиолы хрипло играли «Хороши весной в саду цветочки». Когда пластинка кончалась, буфетчица не глядя переставляла иголку, и снова неутомимый певец начинал заигрывающим баритоном ту же песню. А за окном

дробно лязгали вагоны, и на путях коротко и печально переключались рожки сцепщиков.

— Конечно, я для вас человек новый, — грустно сказал Игорь. — Честно скажу, я и трактора-то еще не очень освоил. Курсов даже — и тех для нас не было.

Пальчиков раздвинул посуду, положил локти на стол. Слегка покрасневшее лицо его с золотистыми волосами выражало веселое несогласие. Он чем-то по-хорошему напоминал Геннадия — ловкий, ладный, знающий себе цену, знающий, что и как делать.

— А я сам от курсов отказался. Задержись я месяца на два, так остались бы мы без грубых кормов на зиму, и тогда... — Он выразительно присвистнул. — Полный конфуз — садись государству на закорки.

— Это верно, — согласился Игнатев, — полное безобразие творилось.

— Вот видишь, — обрадовался Пальчиков, — повезло тебе, Игорь Савельич, самый ремонт захватил. Прокофьевна, это вот он гудок устроил.

— Не покупай: я тебе гарантирую, — не слушая его, твердил Игорь.

Пальчиков хитро жмурился, обещал подумать, но провозглашал:

— Даешь независимости! Свои трактора, и ваших нет!

В тряском, полутемном вагоне Пальчиков забрался на багажную полку и сразу заснул. Игнатев рассовал под низ мешки, полные мягких батонов. Раньше и черный из города возили, теперь, слава богу, своего кое-как хватает. Он свернул сигарку, закурил, деликатно отмахивая дым широкой ладонью.

— Болеет Пальчиков за колхоз. Это — первое качество. Второе — честный. Счастье, что такого прислали. Мы-то, дурни, артачились, — спасибо Жихареву, уговорил. Ведь у нас как было: председатели всех мастей — и рыжие, и плешивые, три Александра, три Петра, ровно дом Романовых, — а все одно: все счета в банке арестованы. Поди вывернись. Ему, чтобы купить, допустим, к примеру, сбрую, надо закон переступить. Людей тоже поначалу чем-то приманить хотелось. Он как сделал? Продал кое-что, в банк не сдал — и народу. Хоть копейка, а все же внимание. Мы видим, рискует человек ради общества.

— У него копеечка к рукам не налипла, — сказала Прокофьевна. Игорь посмотрел вверх: красная отекшая рука Пальчикова свесилась вниз, болталась в такт ходу поезда.

— А если б я мойку не достал, мы бы месяц целый ковырялись, — сказал Игорь. — Шутка, листы гнуть в полтора миллиметра.

— Конечно, дело хорошее, — согласился Игнатев. — Теперь деньжата у нас, слава богу, на счету появились.

— А вы на дореволюционную технику хотите их тратить.

— Погоди, милый человек, весна все покажет. Теперь на ноги встаем. Пора свое занять. Твоя машина что глина, от воды размокнет, ни тпру ни ну. Бортовые да кормовые.

— А ваша?

— А у нас петушиное слово есть, — Игнатев хитро засмеялся. — На своем дворе и щепка плясать будет.

Игнатев встал на скамейку и осторожно положил руку Пальчикова ему на грудь.

— Больно плохая еще у нас жизнь, особенно приезжему, с непривычки, — вздохнул он. — Другой помается, помыкается и уедет.

— И уедет, — встрепелась Прокофьевна. — Вам, правленцам, невдогад выделить новому председателю телочку.

Они заговорили между собой, какую телку лучше дать Пальчикову и возьмет ли он ее.

— А мы и без телки не уедем, — обиженно сказал Игорь, — что нам телка? Может, мы большим пожертвовали, чем ваша телка.

— Ты спи, спи, — строго сказал Игнатев и взял у Игоря с колен свертки.

— Думаете, я пьян? — пробормотал Игорь, не понимая, что лучше сейчас: разбушеваться и заставить этого Игнатьева пообещать, что они не станут покупать никаких машин, либо заплакать с горя. Ведь обидно: Он разве не сознает, почему они покупают всякие жатки? У них ведь каждая копейка на счету. А потому, что не доверяют. А он в лепешку расшибется, чтобы отремонтировать на «отлично». Себя не пожалеет. Что ему себя жалеть? Он готов и за себя работать и за Писарева. Думаете, он не видит, сколько тут ему работать предстоит? Он все видит. Конечно, не верят. Ничего, подождем, что осенью скажете! Постыдитесь, милые вы, хорошие люди. Ему хотелось сейчас обнять и расцеловать Игнатьева. Тот сочтет, что это спьяну. Какое там, Игорь совсем не пьян. Голова абсолютно прозрачная. Вакуум! Может быть, для него эта Прокофьевна — самый дорогой человек. Только не дороже Тони. Тоня, та бы ему поверила. Пальчиков-то спит, хоть бы что. У него совесть спокойна. Ему верят. Ишь как о нем заботятся. А вот скажет ли кто об Игоре Малютине такое же хорошее? Чтобы так же заботливо, любовно... Ахрамеев? Мирошков? Нет, все не то. Он перебирал окружающих его людей одного за другим. Ему надо было, чтобы его любили вот так, как Пальчикова. Утешая себя, он перекинулся мыслями на завод. И вдруг с испугом обнаружил, что там тоже никто не скажет о нем, как о Пальчикове, самые близкие друзья, и те... Семен, наверное, до сих пор простить ему не может, про Геньку нечего и вспоминать.

Мимо окна мчалась огромная ночь. Изредка мелькал ближний огонек, и неотступно под верхней перекладиной окна теплилась зеленая звезда. В вагоне давно спали. Игнатев похрапывал,

положив голову на откидной столик. Спала Прокофьевна. Морщинки ее разгладились, лицо порозовело. Один Игорь бодрствовал. Пронеслись полустанки. Свет фонарей обегал спящий вагон. Блестели мокрые дощатые платформы. И снова редкие огни деревень. Каждый огонек обозначал дом, чем-то занятых людей, чью-то неведомую жизнь. Вместо Коркина его могли послать сюда, и этот огонек обозначал бы его дом. Но тогда он не встретился бы с Чернышевым, с Пальчиковым, с Прокофьевной... И все совершилось бы в Коркине без его участия. Но и здесь, наверное, живут такие же Пальчиковы, и тут творятся сейчас такие же важные вещи, он просто не знает об этом.

Его охватил восторг перед огромностью мира и какое-то щемящее чувство оттого, что он никогда не успеет узнать людей, чьи огни горят в ночи, помочь в их делах, и они тоже ничего не узнают о нем...

Первая новость, какую сообщила ему Тоня: приказом по областному управлению Писареву записали строгий выговор, Чернышеву тоже попало. Формулировку в точности она не знает, — кажется, за недостаточные темпы ремонта, за какие-то демобилизационные настроения. Писарева вызвал к себе Кислов, нагнал страху, он ужасно переживает, мечется, как подбитый воробей. Чернышев, тот спокоен, вчера по радию разговаривал с кем-то из области и всадил такую фразу: «Принципы побеждают, а не примиряются. За меня не беспокойтесь, можно наказать того, кто сказал правду, но нельзя наказать саму правду».

Игорь растерянно смотрел, как Тоня разворачивала подарки, вертелась перед зеркалом, примеряя кофточку.

— Подожди. Как же так? И самому Чернышеву попало? Не может быть!

— Представь себе. В тот вечер Писарев выпил. Мы с Надеждой Осиповной привели его сюда. Плакал он. Жалко его, беднягу. Это счастье, что тебя не было. А то бы тебя тоже вызвали.

Взяв бумаги, он отправился к Чернышеву доложить результаты поездки. Чернышев внимательно посмотрел накладные.

— Ого! И быстрорезы. Хорошо, хорошо. — Он с удовольствием почесал подбородок.

Они поговорили о делах. Потом Чернышев спросил:

— В музей вам удалось побывать? Жаль, жаль, там есть несколько первоклассных картин...

Игорь смотрел на него недоверчиво. Какие картины? К черту картины! Что это такое? Действительно он так спокоен? Или нарочно?

Но после того как он увидел Писарева, он уже не сомневался в притворстве Чернышева. Писарева словно подменили: он осунулся, глаза

его то лихорадочно блестели, то вдруг пугливо меркли. Превозмогая свою стеснительность, Писарев целыми днями не выходил из мастерской. Суетливо подгонял трактористов, вмешивался, упрасивал, сам подносил детали. Он приостановил оборудование инструментальной, перебросил плотников на ремонт кабин; заготовленные для стеллажей полки распиливали для кузовов. Кладка фундаментов приостановилась. Никакие доводы на Писарева не действовали. С упрямством, которое слабым людям заменяет характер, он настаивал на своем. Добытое Игорем оборудование привело его в ужас. К чему это все, если сейчас некогда этим заниматься. Сейчас надо жать на ремонт изо всех сил, и больше он знать ничего не хочет. Моторы, рамы. Из областного управления спросят: как вы используете то, что получили? Обязательно спросят.

Он ныл и жаловался, и наконец Игорь не вытерпел.

— Что вы паникуете? Говорите об этом с Чернышевым. Я тут при чем? — Ему стало жалко Писарева. Смягчившись, он попробовал успокоить его: — Чернышев, наверное, знает, что делает.

— Неужели вы не видите? Чернышев прикидывается спокойным. Играет. Поверьте мне. Это хорошая мина в плохой игре. Вы не разбираетесь в обстановке. Не сумел ведь он меня защитить. Втащил в такую историю и подвел. Что Чернышев! Ничего Чернышев не может. Я его за это не виню. Честный человек, но фанатик. Ему себя не жалко, никого не жалко. Он нас всех погубит. Хочет бороться с Кисловым! Это же безнадежно. И Жихарев не сумеет помочь. Кислов сильнее их.

Слушать Писарева было тягостно. На него даже трудно было по-настоящему сердиться. И в мастерской относились к нему с терпеливой жалостью.

— Чего ты хочешь, — сказал Игорю Ахрамеев. — Перетянули гайку и сорвали резьбу человеку.

— Что же делать?

— Как постановили, так и надо действовать.

— Действовать, а если мне за это всыпят?

Ахрамеев засмеялся.

— На потную лошадь овод садится. Писарев сам перепугался и тебя на испуг хочет взять.

— Верно? — с надеждой спросил Игорь.

— Послушай, — сказал Ахрамеев необычно серьезно. — Я не знаю, как ты понимаешь комсомольскую должность. Выбывает, проведет человек в комсомоле годы, а вспомнить нечего. Разве что взносы платил да сидел на собраниях. А по моему, уж если комсомолить, так чтоб было что рассказать. Эх, если б я на твоём месте... — Он повел плечами, и чувствовалось, как под стеганкой заходили его мускулы. — Ты, главное, не робей. Я вот доберусь до Жихарева, он мужик правильный, он растолкует что к чему.

— Я и не думаю робеть. Чего мне робеть.

Писарев приказал все поступающее оборудование сгружать у склада. Но когда прибыла мойка, Игорь распорядился поставить ее у ворот мастерской. Куб, обшитый досками, осторожно спустили на землю. Подошла Лена Ченцова.

— Это и есть мойка? Наконец-то! Игорь Савельич, когда же фундамент для нее закончат? Никто не работает. Давайте мы субботник проведем.

— Хотите, покажу ее? — спросил Игорь, не спуская глаз с мойки; взял ломик и бережно начал отдирать доски. Лена помогала ему. Подошло еще несколько человек. Костя Силантьев вынул нож и с треском надрезал толь. Искристый лист упал, обнажая масляную стену мойки.

— Хороша? — улыбаясь, спросил Игорь и погладил дверцу. Стояли, любясь; трогали железные стены, и Лена вздыхала от умиления.

Потом Писарев позвал Игоря к себе и кричал, ломая пальцы:

— Кто разрешил вам вскрывать мойку? Демонстрация! Вы у меня ответите!

Наморщив лоб, Игорь холодно смотрел на Писарева.

— Пожалуйста, не кричите.

Писарев разом, как-то послушно, замолчал. Умные глаза его в красном ободке воспаленных век прояснели.

— Простите меня... — Он покраснел и потер грязными пальцами высокий влажный лоб. — Со мной творится что-то... Но все-таки, Игорь Савельевич, так нельзя. Я вас понимаю, у вас самые лучшие намерения. Но поймите и вы меня. Существует партийная дисциплина. Пусть меня считают плохим коммунистом, но мне моя партийность дорога. Хватит с меня, я больше рисковать не могу. И откуда мы с вами знаем, какие там, наверху, у Кислова, соображения? Мы слишком мало знаем, чтобы судить, прав он или нет. Может быть, существуют какие-то высшие доводы. Зачем мы спешите? Для чего вам это? Пройдет посевная — быть может летом поставим вашу мойку и займемся всеми делами как следует. Ведь в принципе никто не против... Давайте скажем трактористам, что вы просто хотели осмотреть устройство, запакуем ее снова и на склад, чтобы не дразнить гусей.

Игорь отвернулся.

— Делайте это сами.

— Хорошо, хорошо, — обрадовался Писарев.

В воскресенье после обеда явились Лена Ченцова с Ахрамеевым и уговорили Малютиных пойти на лыжах «закрывать сезон».

Вернувшись с флота, Ахрамеев энергично принялся насаждать лыжный спорт в своей деревне. Из сформированной команды на тренировки аккуртнее всех являлась Лена Ченцова, что было

совершенно непонятно, поскольку, добравшись до оврага, она усаживалась на пень, и никакие призывы не могли заставить ее скатиться вниз.

Игорь согласился идти с видом человека, который уступает Тоне, дабы не лишать ее удовольствия. Его же самого земные радости исцелить не могут.

Снег истоньшал, кое-где оставались лишь белые островки, искрапленные черными макушками бугров. Только на северном склоне оврага, по дну которого протекала река, зима сохранилась в полной силе. Там росли молодые ели и сосны, и снег под ними был бурый от опавшей хвои.

— Хорош снежник? Это ж заповедник, а? — закричал Ахрамеев, лихо скатываясь вниз.

Игорь, страхуя Тоню, скользил впереди, наискосок, петляя между деревьями. Потом они, расставив лыжи «елочкой», поднимались по склону, Лена сверху кидала в них снежками. Игорь видел перед собой туго обтянутую мохнатым свитером легкую, гибкую фигуру Тони, ее рассыпанные волосы, плечи, запыленные блестками. Она ударяла по белым, пушистым аркам согнутых елей, комья снега отваливались, ели оживали, распрямляясь, стряхивая остатки снега, роняя старые, рыжие иглы, и вставали, распушив неожиданно яркую зелень хвои. Ему захотелось, чтобы Тоня коснулась и его своей волшебной палочкой, захотелось барахтаться в снегу, дурачиться, забыв обо всем. И, не в силах устоять перед этим желанием, он вдруг закричал, подпрыгнул, ухватив лапу тоненькой ели. Хлопья снега посыпались на Тоню, на него, за шиворот, облепили лицо, он слизывал с губ этот пахучий, вкусный снег и снова кричал. Этот дикий, неистовый, вызывающий клич подхватил Ахрамеев, затем Лена и Тоня. Вчетвером, покраснев от натуги, они вопили во всю силу своих легких.

— Вот это да, — обессилев, сказала Тоня, удивленно глядя на Игоря. — Если бы оставить в этом овраге зиму на все лето.

— Вы накаркаете, — сказал Ахрамеев, — и так уж она половину весны отхватила.

— Кислова бы сюда, — сказал Игорь, — показать ему...

Ахрамеев как-то странно посмотрел на него.

— Не пойму я тебя, — сказал он. — Чего ты боишься?

Игорь сразу же понял, о чем он, но принял недоуменный вид.

— Я? Чего это я боюсь?

— Кислова боишься! С Писаревым на пару дрожжишь!

— С чего ты взял! Никого я не боюсь!

Тоня вздохнула.

— Завели. Охота вам портить такую прогулку?

Ахрамеев сверкнул глазами, но сдержался.

— Поехали!

Они вдвоём скатились вниз. Остановились у ельника.

— Имей в виду, — заговорил Ахрамеев, глядя вверх, на обрыв, где стояли Лена и Тоня. — Ты сам заварил кашу с этим переоборудованием, а теперь, когда пришлось драться, ты в кусты. Так не пойдет.

— Какой ты храбрый на меня. А ты с начальством поговори!

— Я-то говорю. Но и ты говори. Ни с кем ссориться не хочешь? Нет, милый. Ты комсомолец и выполняй решение организации. А не то спросим с тебя со всей строгостью.

— Не пугай. Меня не запугаешь. Не на такого напал, — упрямо повторил Игорь. Пусть знают. Не подчинится. Наперекор.

— Это верно, и так весь запуганный. — Угольные глаза Ахрамеева запальчиво блеснули. — Соберем собрание, тогда покрутишься! Ребята цацкаться не станут... Вплоть до взыскания!

— Вот в чем твоя смелость!

— Ты что ж это хочешь сказать? — медленно проговорил Ахрамеев. Голова его подалась вперед, плечи развернулись.

Они стояли друг перед другом, стиснув палки. Коренастый, ширококостный Ахрамеев и сухоощавый, весь острый, как лезвие, Малютин.

— Драться нам с тобой невозможно, — с усилием, хрипло усмехнулся Ахрамеев. — Должность моя не позволяет. — И, сделав над собой еще одно крайнее усилие, он усмехнулся. — Ну, так как? По рукам? Ведь ты сам знаешь, что не прав.

Игорь не слушал его, в ушах его звучал горячий, испуганный шепот Писарева: «Вот увидите, Кислов съест и Чернышева и Жихарева, а тогда от нас с вами только пыль полетит. Кислов сильнее их всех. У Чернышева ничего не выйдет. Он не умеет переносить несправедливость. Такие, как Кислов, всегда будут правы. Потому что у них нет самостоятельных суждений. Они не ошибаются. Не суйтесь. Вы наивный мальчишка. Вас растопчут».

Рука Ахрамеева висела в воздухе...

— Эй! — позвала Лена. — Вы чего там застряли?

— Думаем! — крикнул Ахрамеев.

— Не за свое дело берешься!

Подпираясь палками, Ахрамеев быстро полез наверх.

По дороге к большому обрыву Тоня показала Игорю на дальнее поле. Там, на самом горизонте, сверкали, лучась, окна какого-то домика. Самого домика не было видно, только оранжевый блеск обнаруживал его.

— Красота, — сказала Тоня, — такая красота, сохранить бы это на всю жизнь.

— Да... — Игорь криво усмехнулся. — Стоило уезжать из Ленинграда, чтобы тут исключили тебя из комсомола.

Он вдруг стал расписывать угрозу Ахрамеева, придумывать грозящие опасности. Ему хотелось стать в глазах Тони героем. Чтобы она восхищалась им, волновалась и жалела его.

— Ахрамеев — железный парень. Никакой деформации, — сказал Игорь. — Он ни перед чем не остановится. Он не понимает, что такое производственная дисциплина. Я ведь человек подчиненный.

— Правильно, без тебя разберутся.

Он вздохнул.

— Но и так тоже работать неинтересно.

— Довольно. Можешь ты в воскресенье побыть со мной?

Но через несколько шагов она сама сказала:

— Ты бы лучше закончил свой автомат для «Ропага».

— Где там... Обещал Яльцеву заняться камнедробилкой, а теперь прохожу мимо него — отворачиваюсь. Мне в глаза им стыдно смотреть.

— Перестань сейчас же!

Он обиделся. В гневном восклицании Тони ему послышался все тот же тайный, позорный упрек в малодушии.

На излучине реки берег был обрывистый. По круче росло несколько толстых, кривых сосен. Четыре из них стояли на одной линии, как шесты при слаломе.

— Повертим? — предложил он Ахрамееву.

Тот поежился, показал на свои деревенские крепления из сыромятных ремней.

— Ага, боишься? — громко, торжествующе сказал Игорь.

Угольные глаза Ахрамеева похолодели.

— Не куражься. Знаешь, как учил нас капитан-лейтенант, — непонимание опасности не есть еще храбрость.

— Ай-я-яй, — пропела Лена:

Наш залетна агитатор,
агитатор боевой.

— Не вздумай тут ехать, — сказала Тоня.

Ах, трус? Так вот же вам, получайте!

Согнув колени, он толкнулся вперед, вниз, навстречу воздуху, ставшему сразу плотным и шумным.

Чтобы попасть в узкий промежуток между первыми двумя соснами, Игорь круто свернул вправо, выгадывая наиболее удобный угол. Очевидно, какое-то лишнее мгновение он промедлил, и его вынесло прямо на вторую сосну. Он попробовал выправиться, забрать левее, с тем чтобы все-таки проскочить между соснами, но ноги его вдруг ослабли, лыжи скользнули вниз, и он объехал вторую сосну снаружи, пригибаясь под ее низкой ветвью. Наверху ребята, наверное, смеялись. Он и впрямь становится трусом. Четвертая сосна росла на самой крутизне. Игорь развернулся и помчался прямо на нее, ветер облепил ему лицо; мускулы на шее, на спине сводило от

напряжения, где-то позади летел звон прорезаемого наста. Мимо этой сосны он пройдет впритирочку. Он толкнулся палками, увеличивая и без того большую скорость, и вдруг почувствовал, как под снегом ребро наружной лыжи скользнуло вниз, наверное, по обледенелому корню. Ноги его разъехались. Он попытался опереться на вторую лыжу, она тоже скользнула вниз.

Обехать сосну снаружи было невозможно: вниз по откосу торчали высокие пни. Сосна неслась на него, он различал прозрачно-желтые чешуйки коры на ее локтем выгнутом стволе. «Снег виноват, — подумал он. — Слишком тонкий. Если бы были металлические подреза, лыжи не соскользнули бы. Лыжи виноваты». Мысли были отчетливые и какие-то неторопливо-равнодушные. Он даже успел улыбнуться про себя. Не все ли равно, из-за чего это случилось? Только бы не лицом. Он втянул голову. Лучше упасть, выбросив ноги вперед. Отделаться переломом, ничего страшного. Несколько недель больницы...

Но тело его, ноги, руки не слушались его мыслей, они действовали самостоятельно, они не хотели лежать в больнице. Ожила накопленная годами тренировки на крутых кавголовских спусках та мгновенная, точная реакция, которая подчиняет себе тело, независимо от воли, от головы. Руки его кинулись в сторону, разворачивая корпус, ноги оттолкнулись от ускользающей земли, подбросив падающее тело вкось. Острая боль заставила его на мгновение закрыть глаза. Ему показалось, что мускулы его, сухожилия рвутся от нечеловеческого напряжения. Слышно было, как лыжа чиркнула по стволу, выгнутая ветка мягко погладила его плечо. Он открыл глаза. Колени дрожали. У берега он наконец заставил себя притормозить. Ахрамеев что-то кричал сверху и грозил кулаком. Игорь взял горсть снега, сунул в рот.

Когда он поднялся наверх, бледность еще покрывала лицо Тони.

— Сумасшедший, — проговорила она, нервно улыбаясь.

— Я не сумасшедший, там корень...

— Ты сумасшедший. Пижон несчастный.

— Сумасшедший пижон, — сказал Ахрамеев. — Что ты доказал? Что ты пижон, больше ничего ты не доказал. — Он зябко поежился, и все четверо, глядя друг на друга, начали нервно смеяться.

Домой возвращались медленно, с остановками. Ахрамеев и Лена шли впереди. Длинные тени их то сливались в одну четырехногую, то разделялись. Солнце садилось. Снег стал розовый, теплый. По густому синему небу плыли маленькие облака, похожие на льдины. Их было тысячи. Среди тишины казалось удивительным их быстрое, бесшумное движение.

— Ох, как чудесно! — сказала Тоня. — Там уже настоящая весна.

Игорь посмотрел на ее запрокинутое к небу счастливое лицо, наклонился и быстро поцеловал в холодную щеку.

— Не смей, — сказала она, — я тебя ненавижу. Я так испугалась.

Он засмеялся. Хорошо, что хоть для нее он не трус. А на самом деле? Да, ничего он не доказал. Куда легче скатиться с любого обрыва, рискуя сломать себе шею... И почему он должен что-то доказывать? Как все могло быть хорошо: и это небо, и снег, и Тоня, и ребята. Ну что еще, казалось бы, надо человеку для счастья?

Потянулись дни, долгие, разделенные числами, как дорога километровыми столбами.

После выговора Писарев во всем видел угрозу новых взысканий. Каждое свое действие он обдумывал: а что скажет Кислов, а как к этому отнесутся?.. Стыдясь своей мнительности, он оправдывался: «У Кислова всюду свои люди, — он знает все!» Спорить с ним было невозможно. Действительные опасности не так страшны, как ужасы воображения. Он ходил за Игорем по пятам, контролировал каждое его распоряжение. Как все слабые, испуганные люди, Писарев ожесточенно, с иступленной решимостью настаивал на своем. Не стоит менять ходовую часть у «КД»: некогда, план! Скорее! Сдавать машины! Потом, потом!..

— Будет вам трястись, — не выдержал Игорь. — Не такой уж ваш Кислов Ахиллес, каким вы его ставите. «Он все знает!» Ну что это все? Ведь он не знает, что мы с вами иностранные шпионы.

— Вы все шутите, — грустно сказал Писарев. — А Чернышева-то снимают. Есть такие сведения. Кислов добился своего.

— Не может быть! Ведь Чернышев прав!

— А кто не прав, тому легче, — с торжествующей горечью сказал Писарев.

В памяти Игоря вдруг возник Лосев. Кислов был чем-то похож на Лосева. А Игорь привык к тому, что Лосев всегда оказывался сильнее. Такие, как Лосевы, умели вывернуться. Их не спихнешь. Они способны одолеть даже Чернышева.

Игорь притворялся перед ребятами, что все идет как нужно. Когда его останавливали, он озабоченно смотрел в сторону и торопился. Совсем как Абрамов на заводе. Однажды, увидев возле конторы Пальчикова, Игорь свернул с дороги на строительную площадку и долго стоял за кучей кирпича, дожидаясь, когда Пальчиков уйдет.

По-прежнему он выслушивал двигатели, спорил с бригадами, лазил под машины, даже волновался, когда очередной трактор, лязгая гусеницами, выползал из мастерской и делал первый круг на дворе; по-прежнему торговался за каждую

дефицитную деталь. Но внутри у него стало холодно и пусто.

Тоне все реже удавалось отвлечь его от грустных мыслей. О чем бы ни заходил разговор, Игорь упорно сводил его к своему трудному положению: он страстно желал победы Чернышева и не верил в нее. Чернышев был прав и бессилен. С Писаревым у Чернышева не получилось. Писареву вклеили выговор. И Жихарев не помог. Теперь за самого Чернышева взялись. Где уж тут Игорю вмешиваться. Если Чернышев не сумел справиться с Кисловым, то что может он?

Втайне он еще на что-то надеялся, ждал, что все решится само собой, но ничего не решалось, и чем дальше, тем отношения его с ребятами, с Ахrameевым становились все напряженнее. Как-то, проходя с Писаревым по мастерской, он услышал вдогонку:

— Один от страха помер, а другой ожил.

Однако Писарева почему-то жалели, никто на него не нападал, все винули Игоря.

Чернышев подолгу задерживался в колхозах, ездил в область отстаивать колхозные планы, привез из Сельскохозяйственного института какого-то доцента, который вместе с Надеждой Осиповной поставил опыты по химическому уничтожению кустарника. Но за всеми этими делами, Игорь чувствовал, от Чернышева не ускользало ничего из того, что творилось в мастерской.

Столкновение с Чернышевым становилось неизбежным. Он ждал этого столкновения ежедневно, всякий раз, когда слышал хриплый клаксон директорского вездехода, когда видел уборщицу, идущую из конторы. Ожидание связывало его мысли и руки. И когда наконец это случилось, он почувствовал облегчение.

Чернышев подробно расспросил его, как идет изготовление камнедробилки, почему остановился монтаж мойки, что удалось сделать с тракторами «КД».

— Скверно, очень скверно. — Он задулся. — Игорь Савельич, а что, если Писарев уедет в длительную командировку? Ему нужно согласовать проект новой мастерской, заказать оборудование, а потом — в отпуск.

Игорь обрадовался, но тотчас на него надвинулись страхи и то неверие в силы Чернышева, которое ему внушил Писарев. Согласиться — значит остаться насовсем. Понятно, что за командировка. Писарев не вернется. И тогда застрянешь здесь навсегда... Если бы Чернышев не советовался, а просто приказал, он подчинился бы, и даже с удовольствием. Но Чернышеву зачем-то нужно было его согласие...

Взгляд Игоря сделался холодным и настороженным.

— Что ж это, вся ответственность на меня ляжет?

— На нас, — поправил его Чернышев. — Не вижу иного выхода. Может быть, вы подскажете что-либо другое? — Он говорил с Игорем доверительно, как с единомышленником.

Игорь отвернулся. Он сам не ожидал, как дороги ему остатки смутных надежд на возвращение. Он не мог сам уничтожить их.

— Нет, я не согласен.

— С чем вы не согласны?

— Чтобы Писарев уезжал. Я начальник мастерских и должен работать под руководством главного инженера.

— Но Писарев вам мешает.

Игорь чуть покраснел.

— Нет, он мне не мешает.

Чернышев долго молчал.

— Да, этого я не ожидал. — В усталом голосе была горечь и разочарование неожиданно обманутого человека.

Игорь неловко потоптался, вышел, осторожно прикрыв дверь. Некоторое время он стоял в коридоре перед плакатом об устройстве силосных ям с ясным и мучительным сознанием того, что все это уже с ним когда-то было.

Медленно прошел в мастерскую и сел за стол.

Подожел Ахrameев:

— Кончаются электроды с обмазкой. Как быть?

— Никак, — ровным голосом сказал Игорь. — Варили до сих пор без обмазки, ну и варите без обмазки.

— Так это разве сварка, Игорь Савельич? Халтура получается.

— Из-за вашей обмазки мы работы не остановим. Вот так.

Ахrameев наклонился, сказал тихо:

— Продолжаешь курс на Кислова держать? Надеешься без врагов прожить? Чистюлька. Скажи спасибо Чернышеву, что тебя на бюро не вызвали. Но я тебя предупреждаю: такую фиаску потерпишь — глаза девать некуда будет.

Затем подошел Саютов. Он сомневался, годится ли сталь для прокладок, не тонковата ли?

— Другой нет. Ставьте какая есть.

— Обещали привезти на днях.

— Мне надо трактор выпустить. Сегодня сводку передавать в область. Понятно?

— Все понятно, — сказал Саютов, — издали и так и сяк, а вблизи ни то ни се.

Подожел еще кто-то, заговорил, но Игорь уже не слушал. Он вспомнил. Воспоминание появилось медленно, как туманное изображение на фотобумаге. Игорь поднялся и вышел из мастерской. Да, то же самое было тогда на заводе, на производственном совещании, когда он промолчал и не помог Вере Сизовой. Потом она назвала его предателем.

Он осмотрелся. Черные грачи, подпрыгивая, преследовали трактор. Истошно вопила циркулярная пила. Из кузницы валил багровый дым. По

дороге шагали трактористы в черных ватниках, похожие издали на грачей; они смотрели на Игоря и о чем-то говорили...

Самое страшное заключалось в том, что Игорь не мог до конца рассказать об этом Тоне. Существуют вещи, о которых не должен знать любимый человек. Именно потому, что он любимый, единственный, близкий, именно поэтому страшно, если он узнает такое. «Ничего особенного, поругался опять с Чернышевым», — уверял он Тоню и отвечал ей, из-за чего поругался и как, рассказывал обо всем, но только не о том неуловимом и вместе с тем беспощадно ясном, что было во взгляде Чернышева, в его голосе и что заставило Игоря вспомнить о малодушном своем молчании тогда, на заводе, когда Вера выступала против Лосева.

Тоня гладила его волосы, перебирала их, прижимала к груди его голову.

— Ну чего ты так переживаешь? Не надо.

— Я не переживаю. Чего мне переживать!

— Ведь он тебе больше ничего не сказал?

— А что он мне мог сказать?

— Конечно, ему нечего больше было сказать.

— Разве я обязан заменять Писарева?

— Конечно, не обязан.

Не все ли ей равно, что произошло, важно, что его обидели, ее любимого, хорошего, и она не может видеть, как он мучается. Это было настоящее горе, она чувствовала, как он потрясен, и, не раздумывая, стала на его сторону, готовая защищать, утешать, оправдывать. Что бы с ним ни случилось, они вместе. Значит, все остальное уже неважно.

Обняв Тоню, он жадно слушал ее утешения. Он вдруг улыбнулся. Не такой уж он незадачливый, как ей кажется. Писарев, тот, конечно, ни на что не способен, а Игорь, когда все уладится, еще покажет себя.

— Бедный Чернышев, — вдруг сказала Тоня, — крепкий он дядька, но трудно ему приходится.

— Жалеть — не помочь. Мне, может, его еще жалче. А толку что? Чем пособишь? Пустые хлопоты. Как говорит Писарев — донкихотство.

— Ты уверен?

— Абсолютно! — он разозлился. — Я вижу, ты больше о нем печалишься, а я к своей беде ума не приложу. Вот уедет Чернышев, останусь я тут один. Посадит Кислов какого-нибудь своего гаврика, и тогда уж ничего хорошего не жди. Стану я тут мыкаться с этим затруненным Писаревым. Что я смогу сделать? Тогда вообще всему каюк.

— Не преувеличивай. Никаких трагедий тут нет. Будешь делать то, что тебе прикажут, и вся забота.

— Не могу. Я хочу делать то, что нужно.

— А я тебе не позволю. Тот, кто делает только то, что нужно, часто делает то, что ему не нужно.

Это было настолько не в духе Тони, что он удивленно уставился на нее. Потом засмеялся и благодарно прижал ее руки к щеке. Она думала о нем лучше, чем он был. Но если бы она не согласилась с ним, совестила бы его, он, конечно, обиделся бы, сказал, что она не любит его, равнодушна к его судьбе, и все же ему стало бы легче.

Где-то в глубине души он хотел ее упреков, они были ему нужны.

Она почувствовала, как напряглась его шея, его плечи. Что-то чужое снова возникло между ними. Это обидело ее. Раньше рядом с нею, вот как сейчас, он не смел думать ни о чем другом; она подняла его голову и успела заметить в глазах исчезающее хмурое раздумье. Она поцеловала его в губы, не сводя с него глаз, потом еще раз, еще. Она вводила его с собой туда, где ничто не смело коснуться их, где они были только вдвоем. Она с тревогой чувствовала, что это прибежище последнее, но выбора у нее сейчас не было, она готова была на все, лишь бы как-то помочь ему, лишь бы избавить его от мучивших мыслей.

Они хватались за единственное, что у них оставалось, закрываясь от тревог, отделяющих их друг от друга.

...Рука его еще лежала на ее груди, Тоня слышала ясно, как стучит его сердце, но она чувствовала, что он снова уходит от нее. И ей больше нечем было удержать его. Впервые она испытывала унижительную горечь своего бессилия. Вся ее женская сущность была больно уязвлена.

Она осторожно выпростала руку из-под его шеи, он даже не заметил. Она чувствовала себя обманутой. Сухие, широко раскрытые глаза ее смотрели на руку, которую он только что целовал, полную, красивую руку, где под розовой кожей просвечивали голубые, похожие на реки вены. Она заплакала, но глаза ее оставались сухими, слезы скатывались куда-то внутрь, твердые, каменно-тяжелые.

Назавтра утром Жихарева вызывали в обком. Возвращаться в Коркино не было смысла, поэтому он решил переночевать у Чернышева и утром от него поехать на энтэсовской машине.

Перед сном Жихарев вышел на улицу покурить. Папироса была предложена, ему просто хотелось побыть одному.

Он знал, зачем его вызывают: сразу после приказа по управлению Чернышев написал письмо в обком. Он показал это письмо Жихареву. Там вскрывались причины тяжелого состояния в отстающих колхозах района: плохой учет, нерента-

бельность отдельных культур, мелкоконтурные поля, высокая себестоимость.

...90 рублей обходился некоторым колхозам килограмм свинины.

...9 рублей 60 копеек стоил литр молока.

...6 рублей 20 копеек стоил килограмм зерна.

В лучших колхозах района стоимость эта была много ниже. Следовательно, можно было с той же земли получить более дешевую продукцию? Все зависело от организации труда, производительности, технологии.

Термины эти звучали для Жихарева удивительно. Чернышев заставлял смотреть на все глазами инженера-хозяйственника. Привычные с детства понятия смещались, открывая новые свойства. Последовательно, не смущаясь никакой спецификой, Чернышев рассматривал любой колхоз как завод, применяя здесь те же мерки и требования. Севооборот был для него технологией. Всякое нарушение технологии недопустимо. Оно ведет к браку, то есть к низкому урожаю.

Постановления ЦК помогали колхозам переходить, в сущности, на передовую технологию. А Кислов, вопреки этим постановлениям, мешал колхозам самостоятельно планировать севообороты. Вместо того чтобы расширять посевы льна, он навязывал непосильные задания по яровым, которые в колхозах из года в год не успевали вызреть.

Блеск лемехов, режущих землю, тонкая зелень первых всходов, охапки сена, брошенного в ясли, — все виделось Чернышеву как элементы производства, где должны существовать ритмичность, производительность, специализация. Трудодень, урожай, уборка неожиданно приобретали промышленную точность норм, расценок...

Тракторы были для Чернышева станками. Эти станки работали всего несколько месяцев в году, в то время как колхозы бедствовали без машин.

«Мыслимо ли представить себе завод, — писал Чернышев, — где оборудование загружено всего два часа в смену? А в остальное время рабочие работают вручную?»

Колхозы могут, и они уже в состоянии пользоваться тракторами ежедневно, круглый год.

Но для этого нужно, в частности, обеспечить круглогодичный ремонт.

Этот индустриальный взгляд на колхозный труд, это последовательное, пусть не всегда точное сравнение с заводом открывали Жихареву слабости многих колхозов района.

Во многом, по мнению Чернышева, был виноват Кислов с его недоверием. Недоверие это касалось и реорганизации ремонтного дела и истории с Писаревым. Такого рода недоверие к району, к МТС пронизывало всю деятельность Кислова, и чем дальше, тем больше противоречило оно тому, что творилось в стране.

Контроль нужен, считал Чернышев, жесткий, бдительный, но контроль, а не подозрительность

и недоверие, которые часто обходятся государству слишком дорого. И дело не столько в том, что, оставляя Писарева, Кислов мешает работе мастеров. С этим рано или поздно можно справиться. Хуже то, что испортили человека, того же Писарева, да и в коллективе возникает пакостная болезнь — равнодушие, пропадает самое драгоценное чувство — хозяйский интерес к своему делу.

Возражать было нечего. Если говорить о недостатках, Жихарев мог бы привести куда больше печальных фактов. Прошлой весной скот в некоторых колхозах падал от бескормицы, а в мае, когда подсыхало, жгли прошлогодний неубранный клевер. Видел ли Чернышев, как горит клевер? Никогда он не видел. Сизый, тяжелый дым прижимается к земле, льнет, словно не хочет разлучиться с нею... Поле лежит седое от пепла и долго еще курится паленой горечью.

О недостатках писать просто, но Чернышев имел право писать о них, ибо он предлагал свои, пусть спорные, но какие-то меры, искал новые формы работы с колхозами, потому что во всем этом были тревога, и боль, и желание сделать лучше, и устремленность в завтра.

Прочитав, Жихарев долго молчал. Потом сказал:

— Написано правильно, — и, думая о том, как тяжело воспримет Кислов его позицию, добавил: — Да, сюрприз.

— Сюрприза не будет, — ответил ему Чернышев, — я покажу это Кислову.

— Кислову? — изумился Жихарев. — Кислову?

Чернышев холодно пожал плечами. Он не собирался действовать тайком. Бороться следует в открытую. Пусть Кислов подготовится, сформулирует свои возражения.

Жихарев тогда улыбнулся, слушая его наивные предположения, но какая-то тяжесть с его души вдруг свалилась, ему даже стало совестно, как будто до этого он в чем-то согрешил против Чернышева.

...Вспоминая об этом, Жихарев стоял на крыльце, когда в темноте послышались шаги. Шли двое. Ночь скрывала их лица, двигались только голоса под ломкий хруст шагов.

— Тля... сознаю... хлюпик... Но если я между Сциллой и Харибдой... — слезливо заикался мужчина. — Голову с плеч? Рубите. Но если я не умею... Если у меня поляризация... Хотите, я вам рассчитаю обмотку турбогенератора? Без всяких справочников...

Жихарев узнал голос Писарева.

— Ничего, вернетесь, — грустно сказала женщина. — Все уладится. Не стоит мучить себя.

— Не могу... Она и писать перестала.

— Разве на ней свет клином сошелся? — Нежность как-то необычно изменяла голос жен-

щины, и Жихарев никак не мог понять, знаком ему этот голос или нет. — Если она такая...

— Какая? Что вы про нее знаете? — капризно всхлипнул Писарев. — Вы тоже хорошая... Все хорошее... Один я ничтожество.

— Осторожно, — сказала женщина. — Тут ступеньки... Ну, еще.

Заскрипели доски под неверными шагами. Хлопнула дверь.

«Пьян, — подумал Жихарев. — Нехорошо с ним получается».

И он вспомнил, как Кислов, прочитав письмо Чернышева, усмотрел в нем лишь месья за разговор Писареву и за ту критику, которую Кислов учинил на совещании Чернышеву. Напрасно они доказывали ему, что речь о большем, чем личные обиды. При чем тут обиды, если речь идет о судьбах людей, как сделать их жизнь лучше, как быстрее восстановить колхозы! По-старому работать ведь нельзя!

Когда они вышли из кабинета Кислова, Чернышев сказал Жихареву:

— «И на челе его высоком не отразилось ничего...» Безнадежен. Ничему не научился и ничего не понял. Ну что ж, будем делать, что можем, если не можем делать, что желаем...

Так врач приговаривает больного к смерти.

— Безнадежными бывают лишь покойники, — сердито сказал тогда Жихарев. — Кислов должен понять. Ему труднее, чем вам. Он много лет так работал. Ему нужно время.

— Времени нет, — сказал Чернышев.

— Я вижу, вы считаете свою победу обеспеченной.

— А как же, — спокойно сказал Чернышев, — нам с вами, может, и несдобровать, но победа будет за нами.

— Лучше бы ее пропустить вперед.

И Жихарев невесело улыбнулся. Его смутила уверенность, с какой Чернышев причислял его к своим единомышленникам. Он не мог и не умел полностью отделить себя от Кислова, с которым столько лет вместе отвечал за положение дел в районе. Костистое, бесстрастное лицо Чернышева показалось ему бесчеловечно жестоким. Он даже подумал: «Ишь герой, пришел, увидел, победил!» В эти минуты Кислов был ему ближе. Он распроштался с Чернышевым и вернулся в кабинет к Кислову.

Кислов сидел все в той же позе, тяжело опираясь на стол расставленными локтями.

— Если хочешь знать, это все демагогия, — сказал он Жихареву.

— Что все? — спросил Жихарев.

— То, что Чернышев требует, и вообще...

— Что вообще?

— Да многое из того, о чем сейчас шумят. Наши колхозы так не поднять. Самостоятельность, планирование, снижение налогов — все эти

побрякушки, нововведения не помогут. Одно разорение, и народ распустим.

— Распускать некого, сами разъехались. Теперь людей привлекать надо.

— Я не об этом. Понимать должен. Тут не посулы нужны, а вот, — он стиснул кулак, стукнул по столу. — Мы-то знаем — нереальны все эти сроки и цифры. И нечего заигрывать. Конечно, тут политика. А Чернышев спекулирует на этом, — с ненавистью сказал он.

Он помнил, что откровенность Кислова сперва ошеломила своим бесстыдством: неужто он и впрямь считал, что Жихарев находится под его влиянием и стесняться нечего? Но вслед за тем возмущение отодвинуло все его мысли о себе и своих отношениях с Кисловым.

— Да ты что, всерьез? Как так нереально? — закричал он. — По-твоему, это игра идет? Эх ты... вместо того чтобы радоваться, ты злобишься! Откуда в тебе такое недоверие? — Жихарев внимательно, словно в первый раз увидев, посмотрел на Кислова.

С болью ощутил он, как рвутся последние узы, связывавшие его с этим человеком. Прошлое должно оставаться в прошлом. Иначе оно мешает. Жалко, но ничего не поделаешь, тут надо быть беспощадным.

— Верно, и вправду тебе трудно руководить в нынешних условиях, — прямо сказал он Кислову. — Чувствуешь? Тогда, если ты честный коммунист, то так и надо сказать. А то что ж выходит: ты не веришь в реальность постановлений ЦК и вообще в то, что у нас в области делается? Нет, дорогой мой, тут мы с тобой разошлись. Считаю, что я целиком против тебя. И так буду говорить в обкоме.

— Ясно. Под дудку Чернышева пляшешь. Насчет Писарева ты тоже против меня? — уже деловито осведомился Кислов.

— Да.

— Полагаешь, обком тебя поддержит?

— Постараюсь доказать там. Отпустим мы Писарева — выиграет и государство, и мастера, и он сам.

— А пример остальным?

— Не веришь ты в людей. Никого не смутит, если выяснилось, что человек не подходит, не справляется. Зачем же калечить ему жизнь?

— Либерализм разводишь.

— Либерализм я тут понимаю как примиренчество. Вот если бы я уступил тебе, это был бы либерализм. Ты по-человечески подходи. Речь идет не о станке.

Кислов усмехнулся: очевидно, в интонации Жихарева он уловил какие-то опасения.

— А я тебе советую по-партийному подходить.

Жихарев посмотрел на него внимательно, как бы издали.

— По-партийному? По-партийному — это, мой милый, и значит по-человечески.

Это он знал для себя твердо, в этом был уверен до конца.

...Дверь в соседнем доме тихо скрипнула, возвращая Жихарева в эту ночь.

Захрустела подмороженная грязь на тропке. Жихарев прислушался и, подчиняясь непонятному желанию делать все наперекор себе, вынул электрический фонарик. Узкий сильный луч света уткнулся в Надежду Осиповну. Это была она, в сером вязаном платке, в цигейковой шубке, накинута на плечи.

— Кто там балует? — недовольно спросила она, заслоня ладонью глаза. Ладошка у нее была маленькая, просвечивающая розовым, и Жихарев хмуро улыбнулся.

— Угадываете.

— Ах, это вы, товарищ Жихарев, — без всякого удивления определила она. — Вы что у нас, за ночного сторожа?

Жихарев погасил фонарь, досадуя и не понимая, откуда эта досада: оттого ли, что этой женщиной оказалась Надежда Осиповна, или оттого, что она назвала его по фамилии.

— Местные нравы изучаю, — сказал он как можно язвительней.

— Нравятся?

— Роскошная у вас тут жизнь. Дамы кавалеров домой провожают.

— Мужиков нехватка, товарищ начальник, — холодно потешаясь над его колкостью, сказала Надежда Осиповна. — Ровно коней в колхозе. Вы только о машинах беспокоитесь.

— Кто о чем. Тем более что некоторые дамы в помощи не нуждаются.

— На то они дамы. Где девке слезы, там бабе смех.

Голос ее стал низким, вызывающе-развязным, она словно нарочно сводила разговор к пошлости, всячески подчеркивая эту пошлость.

— Зачем вы прикидываетесь? — сказал Жихарев. — Вы же не такая.

— Господи владыко, — вздохнула Надежда Осиповна, — истинно говорю тебе — спаси меня от воспитателей моих!

Рядом в хлеву сонно и нежно проблеяла овца. Весенний морозец стеклянно хрустывал в тишине. Там, где стояла Надежда Осиповна, виднелось светлым пятнышком только ее лицо. Оно казалось усталым и добрым. И Жихареву вдруг захотелось длинно, ничего не пропуская, рассказать этой женщине о том, что с ним творилось. Ему нужно было облечь свои ускользающие мысли в слова. Услышать их ясное звучание, выговорить их языком, почувствовать их вкус. Произнесенные слова обладают властью — они требуют поступков. Говорить об этом с Черныше-

вым он не мог. Чернышеву все было ясно. Чернышев сидел на диване в теплой пижаме и, обложившись справочниками, доказывал, что фрески Благовещенской церкви, что стоит за Левашами на правом берегу Маковки, расписаны учениками Андрея Рублева в середине XV века. Жена Чернышева слушала мужа и проверяла школьные тетради. Никакие сомнения не отвлекали Чернышева, он давно принял решение, и Жихарев заранее знал все, что Чернышев мог ответить ему по этому поводу.

— Погодите, Надежда Осиповна, — попросил Жихарев, — посоветоваться с вами хочу...

Он не знал, с чего начать. И, как всегда бывает в таких случаях, заговорил о том, о чем ему меньше всего сейчас хотелось говорить: о заполнении каких-то форм, о планировании. К счастью, она бесцеремонно перебила его.

— Видать, ущемили вас где-то, вот и советчики понадобились. А когда я месяц назад писала про то же самое, под сукно положили.

— Вопрос о планировании...

— Да что вы уперлись в это планирование! — вспыхнула она. — О земле бы подумали. Ведь уродуем мы ее. Душа болит смотреть, как землю разоряем. Все наездом хлеб норовим вырвать. Всё от нее, а ей что? У Пальчикова, даже у того, всего три тонны органических клadem вместо двенадцати. Раньше такой термин был: «Земледелие». Землю делали! А теперь гектары делаем. Знаете, Жихарев, иногда пойду я в поле, стану на колени, возьму землю в руки, переминаю. Беденькая ты моя, и знать ты не ведаешь, сколько бумаг из-за тебя исписали, а ты все такая же. Нет, ей-ей, — Надежда Осиповна подошла к Жихареву, взяла его под руку, привычно прижалась плечом, — посмотришь кругом, другие области и районы — как люди. Одни мы слезой умываемся.

— Ну-ну, тут торопом не возьмешь, — сказал Жихарев. — Это вы по молодости горячку порете. Возьмите год назад. Приехал я в Маслово, захожу в чайную, ищу председателя: «Вот этот?» — спрашиваю, а мне буфетчица: «Ну что вы, не видите, — это человек трезвый, какой же он председатель!» Вот казус был...

— Э-э, нашли радости! Повыгоняли председателей-пьяниц и считаете это великим достижением. Да с такими темпами, как у Кислова, нам коммунизма не видать. А я эту штуку хочу при жизни откусить. И пока еще старухой не стала. Понятно? Поскорее. Да, тороплюсь. Ну и что?

— А мы не хотим коммунизма? — улыбнулся Жихарев.

— Кто вас знает! Есть такие работнички, которым достаточно социализма, вполне устраивает, они не торопятся. А я тороплюсь. Некогда мне ждать. Я бы таких, кто мешает... — Она отняла руку. — Чтоб им ежей рожать!.. — неистовствовала она, с трудом удерживаясь от ругани.

Жихарев пытался рассмотреть сквозь темноту выражение ее лица. «Вот и пойми ее», — весело недоумевал он, задетый ее горячностью и любясь этой горячностью. Они шли рядом по узкой, ломко звенящей под ногами тропке, то сталкиваясь плечами, то расходясь.

— Никак вы меня провожаете? — усмехнулась Надежда Осиповна. — Начальству не положено.

— Ночью все кошки серы.

— А засветят — так брысь под лавку? Говорите, что я прикидываюсь. А сами?

— Спорьте хоть до слез, а об заклад не бейтесь.

— Да я не про то. Вот растолкуйте, для чего Кислов Писарева наказал. Вы сами небось понимаете: ни за что губят человека.

— Ничего, ничего, пусть поработает. Приспособится, — сказал он, снова думая о том, как в обкоме отнесутся к его просьбе.

— Приспосабливается, знаете, кто? Сорняк. Вы что ж, к сорняку его подводите? В агрономии известно: сорняк, он с легкостью приспособляется к любым условиям.

— Мне-то думалось, вы не хотите, чтобы Писарев уезжал, — неловко засмеялся Жихарев.

На какую-то минуту ему показалось, что он остался один, Надежда Осиповна исчезла, растворилась в ночной темноте. Даже дыхания ее не было слышно.

— Да, не хочу, — тихо сказала она. — Ну и что? Э-э, да разве вы поймете!.. Мужик такое растолковывать — все равно что петуха сеном кормить.

Ему всегда казалось, что он хорошо знает Надежду Осиповну. Он знал о ней много и, в сущности, ничего, потому что это многое было лишь то, что говорили о ней в районе. Сплетен о ней ходило множество: то этого приворожила, то того извела; в позапрошлом году в Ильин день двое подрались из-за нее, а она сидела на плетне и свистела, ровно судья на соревновании; рассказывали, как в коркинской чайной унимала она местного буяна Тимошу Кудрявого — руки скрутила, кушаком связала и в отделение привела. После Тимошу до того засмеяли, что появиться не мог ни в одном буфете; говорят, он с горя и пить бросил. Всякое толковали о молодой вдове, но в колхозах ее крепко уважали за твердый характер, да и агроном она была знающий, особенно же нравилась ее отчаянность; она могла схватиться с любым мужиком, с любым начальником, никому спуска не давала.

Жихарев видел перед собою смутно чернеющие ее плечи, голову, прикрытую платком. Ему было жалко ее и радостно оттого, что мог чувствовать все, что происходило в ее душе.

Они молча дошли до ее дома, остановились на углу. Жихарев положил руку на бревенчатую по-живому теплую стену.

— Пригласила бы вас на чай, да заварка кончилась, — сказала Надежда Осиповна. — Впрочем, вы ведь не пойдете.

— Это верно, — рассеянно отозвался он, пытаясь вспомнить, что же он хотел сказать ей.

— Ой ли? А ну как уговорю? — Она прикрыла своей горячей ладонью его руку, лежащую на стене. — Не бойтесь. Не стану. Вот Писарева отпустите, тогда за вас возьмусь.

Он скал ее руку.

— Вы мне верите?

Она по-своему поняла его волнение и засмеялась.

— Если мужикам верить...

— Зачем вы это, — с досадой и стыдом за нее перебил Жихарев.

— Ну хорошо, не буду, — неожиданно согласилась она.

— Надежда Осиповна...

— Ах, вас насчет веры интересует! Хотите, чтобы вам верили, а сами-то вы умеете верить? Ну, не мне, так другим. Я, известно, забубенная головушка. А остальные?..

Резкость ее обрадовала Жихарева. Он подставлял себя под ее туманы, как под ледяной, освежающий душ.

— ...Кислов, он только в свои кулаки верит... Мне не за себя обидно. Мне-то наплевать, я как любила землю, так и буду любить. У других он веру ломает. И сам... Думаете, он сам верит? Кто не доверяет людям, у того и своей веры внутри нет. На чем ей держаться? Не на чем...

«Как это правильно, — думал Жихарев. — До чего она просто все связала. Чернышев, тот видел во всем только одну сторону — недоверие к людям. А она...»

— ...А за сорняки вы не обижайтесь. — Надежда Осиповна отступила к двери, и густая чернота скрыла ее. Остался только голос, грудной, потеплевший, идущий из самой глубины, этой удивительно темной ночи. — Сорняки у каждого из нас растут. Мне человек иногда кажется полем. Знаете, широкое поле, то его солнышко согреет, то дождик вымочит. И всякой всячины там хватает. Овсяг растет, и васильки, и сурепка. И основная культура — то, к чему предназначен человек. Вырастить на нем можно что угодно, хоть яблоки, хоть тимopheевку. Конечно, у одних почва кислая, у других комковатость... А запустить, так она кустом зарастет. И камни повылазят... Да, да, потом уже труднее корчевать.

— Да, да, потом уже труднее корчевать! — горячо подхватил он.

— Ну, ладно, — помолчав, устало сказала она. — Заболталась я. Нам, бабам, философствовать вредно: целовать разучимся.

Она резко повернулась, пахнув на Жихарева теплом сонного тела и вязким, грустным запахом духов. Звякнула щеколда. Простучали шаги в сенях. Потом над головой Жихарева медленно раз-

горелось окно. Желтый сноп света упал на землю, вызолотил маленькую, закутанную соломой яблоню в палисаднике, шест с ледяными сосульками.

Жихарев отошел от окна. Он сообразил вдруг, что так и не рассказал Надежде Осиповне ничего из того, что хотел. Но теперь это ему уже было безразлично. Он шел и улыбался, вдыхая всей грудью чистый, морозный воздух. И внутри у него было тоже чисто, легко. Вернулось то спокойствие и ясность, которых ему так не хватало последнее время.

Мария Тимофеевна стелила постель на диване, сам Чернышев ходил по комнате с книжкой и читал вслух. «Ему, конечно, легче, — думал Жихарев, — а я должен перешагнуть через себя».

— Послушайте, — сказал Чернышев, — как замечательно написано про старых художников.

Жихарев не слушал. Он думал о том, что ему следовало это сделать давно, раньше Чернышева. И так слишком долго он колебался. Об этом он тоже завтра скажет в обкоме. Он готов. Он готов ответить за все, и поддерживать Кислова он не станет.

Внезапно до его сознания дошел голос Чернышева:

— «...Существует на свете только один героизм — героизм видеть мир таким, каков он есть, и делать его таким, каким он должен быть».

Жихарев подозрительно взглянул на Чернышева, но тот продолжал увлеченно читать, не обращая на него внимания.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Все веселились. Летели ленты серпантина. Гремела музыка. Кружились пары. Скользили цветные лучи прожекторов, выхватывая улыбки, сплетенные руки, сияющие глаза. А он стоял в дверях зала, молодой, красивый, в начищенных ботинках, и никто не знал, что творится у него на душе.

Он тоже улыбался.

Он вспоминал свое поведение и усмехался. С некоторых пор стоило ему вспомнить какие-нибудь свои прошлые поступки, становилось смешно и стыдно. А может быть, это признак роста? Человек растет, умнеет и переоценивает прошлое. Но если он, Геннадий, продолжает расти — значит, он и сейчас совершает глупости. Хоть бы скорее кончился этот рост! Эх, Геннадий, Геннадий, докрутился ты, попал под самое высокое напряжение; никакая изоляция, никакие оправдания тебе не помогут.

А в чем, собственно, ему оправдываться? Перед кем? Кому он повредил? Никому, кроме себя. И никому до этого дела нет. Для всех остальных он действовал исключительно как член комитета.

Ничего больше. Он обязан был содействовать Вере. После той тяжелой травмы необходимо было создать для Веры в механическом цехе нормальную обстановку. Исключительно ради успешной работы над «Ропогом». Он накрутил Шумского, тот привлек Юрьева, тот подключил главного инженера. Когда надо было, Геннадий умел нажимать на все педали. «Это уже не забота о человеке, — пошутил Юрьев, — это любовь к человеку». Геннадий и глазом не моргнул на этот намек.

И знай он уже тогда, как все обернется, он поступил бы точно так же. Так же ответил бы Ипполитову о сплетне, пущенной Лосевым. Ипполитова тогда, видно, всерьез интересовало, какую роль сыграла Вера при отправке Малюткина, из каких побуждений она действовала. Да, он ответил бы Ипполитову точно так же, разве что без мальчишеской горячности. Спокойно и даже презрительно. И как только Ипполитов мог поверить этой клевете! Именно клевета. Уж кто-кто, а он, Геннадий, находился тогда в центре событий, речь ведь шла о судьбе его лучшего друга Игоря Малюткина и его жены Тони. Известны они вам, товарищ Ипполитов?

Намек был глупый, никчемный.

С Ипполитовым относительно Веры беседовали и другие, беседовали, наверное, прочувствованно и задумчиво. Вскоре Геннадий заметил, что Ипполитов после работы провожает Веру. Так получалось, что как раз в это время Геннадий оказывался на остановке и видел, как они шли. И старался не вмешиваться, боясь напортить Вере: кто знает, может, так и надо, налаживаются нормальные условия, Ипполитов внял общественному мнению, искупает свою вину.

Смешно, сейчас это все очень смешно, но смеяться почему-то не хочется. А тогда у него было прекрасное настроение. Время делает горе маленьким, а радость большой. Ему казалось сейчас, что та радость была огромной. И Вера должна была радоваться так же, как он. Почему он был уверен, что она должна все чувствовать так же, как он, и так же относиться к Ипполитову.

До сих пор Геннадий чудесно ладил с жизнью. Если что и не ладилось, так по его вине. Жизнь тут была ни при чем. Как при работе на высоком напряжении, она требовала лишь соблюдения необходимых правил безопасности. Но за последний год она то и дело ставила его в тупик. С ловкостью фокусника она извлекла из самых заурядных обстоятельств непостижимые сложности. Не поймешь, с чего она вдруг заартачилась. Он-то ведь относился к своей жизни по-прежнему, с открытой душой, но она словно знать ничего не хотела, она словно издевалась, сталкивая между собой самые немыслимые вещи, стараясь всячески озадачить, завести в тупик, заставить его страдать, сбивала с привычной дороги, запутывала

следы. Ничего не осталось от ее прежней удобной, послушной легкости.

Он испытывал разочарование в себе оттого, что он оказался таким уязвимым. Тем более следовало вести себя как настоящему мужчине. Сурово и непоколебимо. Встретить удар рассеянной насмешкой.

Вот они, танцую, вошли в розовый круг света, Вера и Ипполитов. Даже под этим розовым, веселым дулом прожектора Вера выглядела бледной. Тоненькие косички, уложенные венком, делали ее похожей на школьницу, и вся она в ситцевом цветастом платице, с черной бархоткой казалась девочкой, вставшей после тяжелой болезни. Каждое движение доставляло ей радость. Она жмурилась от света и беспричинно смеялась. Голая до локтя рука лежала на плече Ипполитова. Кружась, они медленно пересекали светлый круг. Они молчали и пристально смотрели друг другу в глаза, не подозревая, что Геннадий следит за ними. Он настиг их в ту самую минуту, когда между ними решалось что-то бесконечно важное. Он почувствовал эту минуту по стуку своего сердца. Во рту пересохло. Они кружились внутри розового раструба света, ее глаза появлялись и исчезали. Они были огромные и блестящие, эти два глаза. Сейчас при нем, на расстоянии нескольких шагов, совершалось непоправимое.

Радуйся, ты ж этого добивался, ты старался, чтобы Вера скорее выздоровела.

Никогда еще ему не приходилось быть отвергнутым. Своими руками, он все сделал своими руками. И на этот первомайский бал пригласил Веру он. Не то чтобы пригласил, но убедил, что присутствие членов комитета необходимо. Случайно встретил ее на полдороге к клубу, и весь остаток пути они шли вместе. Плечо ее касалось его плеча. Волосы ее тускло блестели. От них веяло прохладной свежестью. Он шел, опутанный этим весенним запахом, и расспрашивал о делах. Про Ипполитова она сказала: «Я ему докажу, ты прав!» — и Генька, наивный дурачок, хвалил ее: давай действуй, доказывай! Он гнал от себя всякие подозрения, был в восторге от непринужденности своего обращения. Да, разговор был только о модернизации и автоматизации, и ничего другого не стояло за их словами.

Ипполитов и Вера возвращались с вечера той же дорогой, по которой Геннадий несколько часов назад шел с Верой.

Геннадий пошел за ними издали, по пустыному, празднично освещенному проспекту.

Неизвестно, о чем она говорила с Ипполитовым, может быть тоже о «Ропого», но тут все было наоборот: сами по себе слова ничего не означали, важно было то, что она держала его под руку, она, а не Ипполитов, что они шагали в ногу

особым, слитным шагом, не различая луж... Мимо того же мебельного магазина, где в витрине на диване спала кошка, мимо газетного ларька, мимо сквера... Он подсматривал, отбросив всякий стыд и самолюбие. Как с ним, так и он. Ей-то ведь не стыдно! Ну как же, она старается во имя производства, обеспечивает нормальные отношения с заказчиком, доказывает Ипполитову свою правоту! Но как ей не стыдно? Ничего, он ничего не мог понять. После всего того, что было!.. Он-то, дурак, восхищался ее принципиальностью. Все обман, все ложь. Как она могла, она, Вера!.. Никаких у нее убеждений, никакой стойкости, ничего, обычная женская расчетливость. Ненавижу!

Он ругал ее последними словами. Испортила ему такой праздник.

Скоро будет переулочек, в котором она живет. Там темно, дощатый забор, маленький садик между глухими стенами домов. Скамейки... Ему бы только увидеть, как Ипполитов целует ее, и тогда все пройдет. Сразу все кончится, как рукой снимет. Но он не хотел, чтобы все прошло. Лучше самая маленькая надежда, чем конец. А если окликнуть, остановить: «Вот и я, разрешите пристроиться. Я тебя, Вера, пригласил на вечер, я тебя и провожу»?..

Они свернули в переулок. А он пойдет прямо. И не оглядываться! Настоящий мужчина не оглядывается. Он плюет сквозь зубы, поднимает воротник и топает своей дорогой, никуда не сворачивая. А может быть, настоящий мужчина поступает как раз наоборот? Он догоняет эту парочку и говорит им что-то убийственно остроумное. Например: «Катитесь вы отсюда, товарищ Ипполитов, эту девушку люблю я...» Может быть, Вера и не догадывается. А если бы догадывалась, разве что-нибудь изменилось бы? Только стыднее было бы.

Ипполитова он всегда почему-то видел со спины — гладкий, круглый затылок. Вместо лица обязательно возникал затылок на длинной шее. И хорошо, что Вера не знает. Что ж хорошего? Обыкновенная трусость. Зато она знала бы, что теряет. Ничего она не теряет. Что он такое по сравнению с Ипполитовым? Подумаешь, невдалеке — монтер шестого разряда: включено — выключено! Такими улицу мостят. Куда ему до Ипполитова! Начальник цеха, преуспевающий товарищ, серьезный, приветливый, не задается. Совершенство этого человека больше всего мучило Геннадия. Полированная поверхность, где не за что зацепиться. Все очень правильно. Слишком правильно. Непонятно. Как много есть непонятного! Что же делать? Лишь бы не страдали производственные дела. А то, что он страдает, — это как? Полагается? И куда обратиться?.. Так полагается: кто-то всегда жертвует собой ради других. На это можно опереться. Нет, это не точка опоры,

а целая скала, огромная, надежная, но все же слишком голая и слишком твердая. На таких камнях ставят памятники, а не живут люди.

Красные полотнища протестующе бились над его головой. С плаката на него смотрели три парня: русский, китаец, негр. Они крепко держали над земным шаром знамя мира. Геннадий сдвинул брови. И проспект выстроился перед ним, ровный каменный строй, оваянный флагами, сияющий цветными огнями иллюминации. Из освещенных окон гремела музыка. Геннадий шагнул, и ему казалось, что он несет на плече тяжелое знамя. Ветер распрямлял складки, какие-то прекрасные слова горели на малиновом бархате. Он точно не знал, какие, но в них звенела медь революции, мужество и гордость высоких чувств. Тех самых, с какими стояли в эту праздничную ночь на посту пограничники, и на электростанции дежурили машинисты, и кочегары бросали уголь в топку паровозов, и стучали телеграфные аппараты, и гремели оркестры.

Они несли свою вахту, им было некогда завидовать тем, кто целуется сейчас в темных переулках.

От всех дверей, от витрин празднично пахло свежей краской. Зря он ушел из клуба. В таких случаях нельзя отрываться... Галя Литвинова учит Чудрова танцевать танго. Новые кадры овладевают высшей техникой. Семен угощает Катю лимонадом и рассказывает о полупроводниках. Полупроводник? Смешно. Ну что ж, когда-нибудь и Геннадию Рагозину придется провожать Веру туда и обратно. Она будет идти только с ним, и он будет счастлив. Он добьется ее любви. Нет, она никогда его не полюбит. Ему не добиться ее любви. Он верил в себя. Нет, он не верил в себя. Если бы кто-нибудь подсказал... Никто не подскажет. Он все еще надеялся на какое-то чудо. Когда-нибудь, как-нибудь оно случится. Он твердо знал, что чудес не бывает и нелепо ждать несбыточного...

Безотчетное побуждение заставило Веру прятать свою радость за небрежностью; она чувствовала, что именно это сильнее всего действует на Ипполитова. В любую минуту она могла покинуть его, она была свободна, совсем свободна. Теперь не она, а он ищет ее, теперь он хочет с ней танцевать. Она может уйти, может и отказаться. Она простила ему все, она несколько не сердится, не таит зла, но она свободна. Отчего это? Может быть, оттого, что она не верит ему. Недоверие осталось. Она не забыла его отступничества! Господи, какой у него был тогда жалкий вид! Она хотела забыть, забыть... Это был не он, нельзя представить себе, чтобы вот в этом красивом, нежном, с необыкновенно ясными глазами человеке продолжал существовать тот, который выглянул тогда, испуганно заискивал

перед Лосевым. Теплая, большая рука его лежала у нее на спине, можно было откинуться и увидеть его глаза. Она блаженно подставляла свое лицо, всю себя, греясь под теплом его виноватых глаз. Она чувствовала, что он никак не может освоиться со своей новой ролью. Он привык к ее преданному, ожидающему взгляду. В ответ он всегда шутил или отмалчивался. Теперь все перевернулось. Иногда в глубине души собственная безрасудная смелость пугала ее. Но, как ни странно, помогал держаться Геннадий. Его убитый вид вселил в нее уверенность. В антракте Вера подошла к нему. Он просил и сразу нахмурился. Пока они говорили, он то сиял, то хмурился и смотрел по сторонам с такой рассеянной озабоченностью, что ей стало жаль его. Наверное, не следовало к нему подходить, а может быть, вообще правильно было бы сказать ему раз и навсегда. И она сказала бы, не считаясь ни с чем, но не сейчас: сейчас она была слишком счастлива, чтобы кому-нибудь причинить боль. Вот так и тянется: сейчас не позволяет счастье, раньше не позволяло горе.

Потом ребята затащили ее в хоровод. Она плясала вместе с Костей Зайченко. Он нашептывал дурашливые комплименты, она смеялась и все время ощущала на себе взгляды Ипполитова и Генки. От этого она еще громче смеялась и чувствовала себя красивой. Чувство это не покидало ее и в буфете, куда ее повели инженер Колесов и два чеха — студенты, приехавшие на практику.

Колесов горячо помогал ей в работе над «Ропагом». Он оказался энтузиастом, увлек своего друга инженера Абашвили.

За соседним столиком Коршунов рассказывал гостям о своем кольцевом сверле. Кто-то предложил выпить за сверло. Костя Зайченко слетал в фойе, на выставку, и принес оттуда большое кольцевое сверло в виде цилиндра. По указанию Абашвили дно заткнули пробкой, и в этот тяжелый металлический стакан вылили бутылку вина. Пили по очереди, как из рога, произносили тосты: за Коршунова, за рабочий класс, за женщин, за дружбу народов.

Абашвили, протянув сверло Вере, сказал, обращаясь к ней: «под известного актера».

— Офелия! Меньше вымысел подмостков на подлинную страсть. Что мне Гекуба? «Ропаг» подайте мне, и я решу вопрос: быть или не быть!

Вера взяла сверло обеими руками. Она начала про новую технику очень серьезно, как на собрании, но ее серьезность приняли смехом, думая, что это пародия, и она, сообразив, продолжала так же, даже чуть-чуть поднажав. Получилось весело и удачно.

К столу подошел Семен Загода. Вера посмотрела ему в глаза и догадалась, о чем он думает. Голос ее чуть дрогнул, как от толчка, которым она сбросила с себя последнюю тяжесть. Сердце ее билось спокойно и сильно. Запах вина мешался

с запахом железа. Выпив, она незаметно коснулась губами сверла, целуя полированную сталь. Это была присяга. А может быть, благодарность? Или клятва? В чем? Кому? Она не могла точно определить своих чувств. И впервые ей не хотелось ничего определять.

...Влажный весенний ветер вздувал полотнища флагов. Ночной проспект плыл под алыми парусами.

Домой провожал Веру Ипполитов. Она слегка опиралась на его руку и чувствовала себя невесомой. Она плыла, едва касаясь ногами земли. Законы земного притяжения перестали действовать. Сколько раз она мечтала о том, как они будут идти вот так вдвоем. Ипполитов держал шляпу в руках. Непокрытые волосы его лежали гладко, ветер почему-то не касался их. Ровный пробор открывал полоску бледно-белой кожи. Зачем она уступила и разрешила ему провожать себя? Она не должна верить ему. Она чувствовала, как ее тянет к нему, и боялась, и противилась, и презирала себя за слабость, но почему-то мирилась с этим презрением. И даже укоряла себя за то, что смеет так гадко и скверно думать о нем. Откуда бралась в ней такая гадкая подозрительность? Есмущада эта опасная сумятица мыслей, эти гонимые ветром бесформенные клочья чувств.

Ипполитов что-то говорил, а она искоса смотрела на его мягкий профиль, не слушая ничего, кроме музыки его голоса. Как в музыке для нее было всегда неважно название вещи, так и сейчас важен был только звук голоса Ипполитова. Любовь — это, наверное, всегда слабость. В чем-то уступаешь, чего-то не видишь.

— Пойдем завтра на «Медного всадника»? — спросил он.

Вера, улыбаясь, смотрела в небо, на голубой хвост Млечного Пути. Миллиарды звезд, похожие на пыль, чуть заметно мерцали, шевелясь как живые. Она молчала, ожидая, чтобы он снова спросил. Но когда он повторил свой вопрос, она замотала головой: нет-нет, ей надо заниматься, надо подготовить монтажные чертежи. Как ни в чем не бывало, он, согласно кивнув, продолжал рассказывать про балет, который он видел в Москве. Потом без всякого перехода сдвинул сказал:

— Все же не стоило тебе соглашаться на эту затею Логинова.

Она засмеялась.

— От этого вина у меня в голове шумит.

— И щеки красные. Тебе идет.

— Хочешь, чтобы я стала алкоголиком?

— А я вовсе не жалею, что тогда не поддерживал тебя.

— Не стоит об этом.

— Но раз уж так получилось, то тебе следует соблюдать осторожность. Во всяком случае, не пороть горячку...

«Зачем он заговорил об этом? Нехорошо. Чего он добивается? Не надо, не надо об этом! А что если я зря согласилась с Логиновым? Мало ли что, а вдруг оскандальюсь...»

— ...Мало ли что, а вдруг тебе не удастся сразу наладить систему? Как тогда? Для чего тебе сейчас идти на риск? Все окажутся в стороне, одна ты в ответе. На кой черт нам нужна эта морока? — Тон его был грубый и в то же время заискивающий. — Не заикались бы мы про эту модернизацию, никто бы с нас ее и не потребовал и Логинов заказа бы не взял. На нет и суда нет, и мы ни за что не отвечаем, никто с нас ничего не спросит. Можно по-разному относиться к Лосеву, но в одном он абсолютно прав: взгреть могут за новое, за инициативу, а за старое никогда не взгреют.

— Подожди, при чем тут Лосев?.. Ага, Лосев, понятно... Ну и что, ты согласен с ним?

— Он циничен, но реален. Безобразно, возмутительно и в то же время железный факт, потому что прежде всего в жизни полезно не делать ничего лишнего. Верочка, мы можем с тобой сколько угодно возмущаться Лосевым, но уже тем, что мы возмущаемся, мы признаем, что он прав. Это жизнь. И только дурак может не считаться с ней.

— Ты все испортил. Ну зачем ты начал об этом?

— Пока что ответственность у нас несут только те, кто пытается что-то создать, а не те, кто ничего не создает. Лосев просто вслух сформулировал то, что мы сами знаем... — Слова Ипполитова звучали все увереннее, и постепенно страх закрадывался в душу Веры.

— Зачем? — спрашивал Ипполитов. — Зачем тебе это нужно? Всегда следует задать себе вопрос: зачем тебе это нужно?

«А зачем вот тебе нужен весь этот разговор? — хотелось крикнуть ей. — Тебе нужно оправдаться? Да? Или нет, ты просто не веришь мне». Не верит ей. А может быть, он хочет, чтобы она испугалась? Зачем?

Словно услышав ее мысли, он искательно погладил ее руку.

— Я же за тебя беспокоюсь.

И все прошло. Как будто этим прикосновением он начисто стер все ее подозрения.

Она успокоенно вздохнула. До чего ж она бесполова! Ну конечно, это же ради нее! Он так боится за нее, а она смела подозревать его в чем-то плохом! Он боится за нее! А ей ни капельки не страшно, ей даже как-то храбрее от этого... Геннадий, тот считал нужным подбадривать ее, незаметно помогал через ребят в цехе... Она задумчиво улыбалась своим мыслям: какая разная бывает любовь и как разная она заставляет людей вести себя...

Первомай справляли у Чернышевых. Кроме Жихарева, остальные были свои, эмтээсовские. Мужчины в наутюженных костюмах сняли белоснежными рубашками. На женщинах цвели легкие платья с короткими рукавами. От вида обнаженных рук и душистой пестроты тканей казалось, что за окнами стоит теплынь настоящей весны. По квартире волнами ходил смешанный веселый запах пирогов, одеколона, водки, дыма; бойко стучали высокие каблучки, блестели протертые стекла, звенела посуда, из кухни доносились возбужденный шепот и смех, и все это еще больше усиливало впечатление весенней праздничности.

Ветврач Нарышкин поминутно щелкал лакированной крышкой новенького портсигара, настойчиво угощал всех папиросами «Фестиваль», тоненькими, длинными, от которых разбирал кашель. Писарев вертел на полу бутылки с вином, показывая, как, согласно законам гидродинамики, раскупоривать без штопора. Строгий черный костюм и накрахмаленный воротничок придавали ему непривычную солидность. Таким он, вероятно, был у себя в проектно-институте в Ленинграде.

Все выглядели необычно и с любопытством поглядывали друг на друга.

Игорь пошел на вечер ради Тони. Настроение у него было прескверное. От напряженной улыбки, с которой он слушал длинный тост Чернышева, у него заболели скулы. Ему не терпелось скорее уткнуться в свою тарелку.

— ...Водка — вещь вредная, малосознательная, — говорил Чернышев. — С этими недостатками борются при помощи закуски и тостов. Нужно, товарищи, всякий раз отдавать себе полный отчет, во имя чего мы глотаем эту отраву, это зелье...

— Видно, что текст согласован, — сказала Надежда Осиповна.

— Регламент!

— Товарищи! Сколько бы вы тут ни шумели, имейте в виду, — продолжал Чернышев, — наш путь к этой селедке и винегрету лежит через мой тост.

— Пропал праздник! — вздохнул Писарев.

— ...Наступает весна, — говорил Чернышев. — Во многом она для нас первая. Мы с ней незнакомы, и она нас не знает...

— Поэтому она идет так осторожно, — усмехнулся Жихарев.

Игорь прищурился: сквозь рюмку казалось, что смеется все лицо Жихарева, его уши, подбородок, шея. И Чернышеву тоже весело.

— ...Но все равно, давайте выпьем с ней на «ты». За ее твердый характер, за нашу мягкую пахоту!

Опустив глаза, Игорь чокнулся с Чернышевым. Сейчас начнут подшучивать насчет тракторов и ремонта.

Но никто не вспомнил о тракторах. Пили за первые цветы, за первую борозду, в честь Нарышкина, за здоровье первого поросенка весеннего опороса.

Игорь пил жадно, почти не закусывая. Вино не пьянило его. Стало немного жарко, но голова оставалась ясной. На другом конце стола за Тоней наперебой ухаживали Нарышкин и приезжий землеустроитель. Если бы она была рядом, может быть ему не было бы так паршиво. Неужто она не взглянет на него? Он почувствовал себя одиноким среди этого веселья. Ну что ж, потерпим, лишь бы ей было весело. Но вообще-то с ее стороны это свинство.

Тоня перегнулась через стул, включила радиоприемник. Из Ленинграда передавали запись первомайского парада. Комнату наполнил рев проходящей по площади артиллерии, затем ударил медью оркестр, запели фанфары, и Тоню подхватил нарастающий тысячеголосый шум демонстрации. Она прикрыла глаза. Тени знамен заскользили по ее лицу. Желтые, голубые воздушные шары поднимались к туманному небу. По бокам она чувствовала плечи идущих ребят. «Ленинград мой, милый брат мой...»

— Мария Тимофеевна, неужели вам интересно тут учительницей работать? — обратилась она к жене Чернышева. — Ведь у вас специальность была.

— Еще какая! Последний год мне дали в институте тему: «История связей Герцена и Чернышевского с польским революционным движением». Ах, если бы вы знали, какая это увлекательная и важная проблема! — Легкий румянец помолодил оплывшее, когда-то красивое лицо Марии Тимофеевны. — Впрочем, здесь, в Коркино, тоже есть кое-что. Тут сохранились любопытные материалы по истории края. Это же древние русские места! — Заметив удивленную гримаску Тони, она смешалась. — Вы ничего не едите. Попробуйте рыбку, — сказала она, недовольная собой.

— Нет, спасибо. Зачем же вы согласились? — спросила Тоня, отлично чувствуя, что этот вопрос неприятен Марии Тимофеевне.

— А что ж мне было делать, мужа бросать? — И ее испытующий взгляд, обращенный к Тоне, вдруг придал разговору совершенно неожиданный смысл.

— Нет, нет, конечно... — Тоня незаметно скинула под столом тесные туфли. — Но вы счастливая, вы, наверное, умеете не вспоминать.

— Еще как вспоминаю! Но обижаться-то не на кого. Виталий ведь тоже ни при чем. Не сам напрашивался.

— А как же?

— Мобилизовали. Я сперва в слезы. Ну, он мне устроил головомойку. Раз надо, так надо! Коммунист я или не коммунист? Был такой вариант, чтобы я осталась с дочкой. Она у нас в институте учится. Тут я взбунтовалась: жена я тебе или не жена? Порешили на том, что он коммунист, а я жена коммуниста. — Она неловко усмехнулась.

Тоня вдруг обняла Марию Тимофеевну и поцеловала ее в щеку.

— А вот сюда, в Коркино, это он сам попросился. Коли уж братся, то давайте мне, говорит, самый тяжелый район. — И Мария Тимофеевна растроганно, с гордостью посмотрела на мужа. Тоня тоже посмотрела. Из кармашка синего, модного покроя пиджака Чернышева игриво торчал цветок. Рядом с Чернышевым Игорь казался Тоне удрученным, пришибленным.

— На вашем месте, Тонечка, — покашливая, сказала Мария Тимофеевна, — я бы завела ребенка: тут, в деревне, для маленького условия самые лучшие.

Тоня вдруг озлилась.

— На моем месте... На вашем месте мне тоже было бы все легче... — Она постаралась произнести это как можно язвительней.

Их руки лежали рядом на скатерти. Молодая, розовая, в золотом пушке волос, под тонкой, тугой кожей горячо пульсировала кровь, — и рука полная, дряблая, на которой проступали вздутые вены и на сморщенных пальцах обозначились суставы. Тоня умышленно смотрела на эти руки, чувствуя, что и Мария Тимофеевна тоже смотрит.

— Вам капустки подложить? — спросила Мария Тимофеевна у Жихарева и незаметно убрала свою руку со стола.

— Эх, грибов не хватает! — сказал Жихарев.

— Осенью заготовлю.

— Ну, тогда без грибов кладите.

— Вам без каких прикажете? — улыбнулась Мария Тимофеевна.

— Без груздей.

— А мне без рыжиков, — протянул свою тарелку Чернышев.

Когда Мария Тимофеевна повернулась к Тоне, это снова была радужная хозяйка. Многоопытное, все понимающее великодушное возраста мужественно, уже не таясь, отразилось в мелких морщинках ее тщательно припудренного лица.

— В ваши годы, Тонечка, и мне сорокалетние женщины казались старухами, у которых вся жизнь позади. Терять им нечего, и жалеть им нечего. Но в сорок лет думаешь иначе... Граница старости отодвигается. Конечно, появляется такая трудная вещь, как сила привычки. Будь у меня вся жизнь впереди, я бы здесь ни о чем не горевала...

«Наверное, я плохой человек, — подумала Тоня. — Если бы я была хорошей, я бы извинилась перед ней. Но с какой стати я должна перед ней извиняться? Эти старухи вечно суют нос не в свои дела. Все настроение она испортила! Не желаю я сейчас думать ни о каком ребенке! Только этого сейчас не хватало. Почему она меня не понимает? Она сама говорит, что, когда была молодая, думала иначе».

Мария Тимофеевна продолжала прошкольные дела, но Тоня не слушала. По правую руку от Тони сидел Нарышкин и восхищенно пялил на нее свои голубые глаза. Хотя Нарышкин был увалень и молот всякую чепуху, ей все равно стало приятно. Под конец она даже пожалела Марию Тимофеевну за ее проседь в волосах, за хриплое покашливание, за то, что никто уже не будет смотреть на Марию Тимофеевну так, как смотрят на Тонию, и судьба ее не сложится так счастливо, как у Тони. Несмотря ни на что, Тоня не сомневалась в своем счастливом будущем, и в этом будущем, разумеется, ее не ждали ни седые волосы, ни морщины. У нее все будет иначе.

Поощренный ее улыбкой, Нарышкин разошелся. Ввертывая латинские слова, он жаловался: в течение двух месяцев он возился с коровой Липкой, вылечил ее от ревматизма, и вот третьего дня она пала от бескормицы.

— Послушайте, Нарышкин, — крикнула Надежда Осиповна, — если вы так будете развлекать Тонию, она тоже падет от бескормицы и скуки!

Все засмеялись, а Надежда Осиповна запела сильным, крикливым голосом:

Наше Коркино село,
Чем украшено оно?
Крикками, бочонками,
Толстыми девчонками.

Жихарев вытер рот и подхватил:

Сколько раз я зарекался
За Надеждой песни петь.
Лишь Надежда рот раскроет,
Моему сердцу не стерпеть.

С ходу сочинили и про Чернышева и про Тонию, потом перешли на романсы, потом — на старые революционные песни, потом пели какие попали: «Шумел, горел пожар московский», и «Шумел камыш», и «Тореадор».

— Скучаю по опере, — вздохнул Чернышев.

— А я по футболу, — сказал Игорь.

Оказалось, этот железный, невозмутимый Чернышев страдал без филармонии и выставок картин (слыхали? В Русском открылась выставка Федотова), без букинистов, страдал без лектория, без Эрмитажа... Ему не хватало больше, чем Игорю, и почему-то говорил он об этом, не стесняясь, и Жихарев слушал его сочувственно, ни в чем не подозревая.

— Нет, по радио совсем не то, — говорил Чернышев. — То ли дело, придешь в оперу, побриг, начинаешь, садишься в кресло, программка на коленях, поднимается занавес, этанкий холодок со сцены. — Он зажмурился и прищелкнул языком.

В опере Игорь был раза три, в филармонии ни разу, и в лектории не был, и на выставки не ходил. У него и прав нет, чтобы скучать и жалеть.

Он навалил себе полную тарелку жареного мяса. Почему-то как станет у него мутно на душе, так разыгрывается аппетит. Когда он прислушался, разговор перекинулся на новый клуб. Жихарев требовал от Чернышева закончить постройку клуба к зиме.

— В наших условиях великое дело будет, если мы сможем каждую субботу новую картину показывать. Все престольные праздники на самодеятельность перегоним. А то пьем да людей бьем, так и веселимся. Это будет пограндиознее вашей филармонии. — Жихарев покраснелся, глаза стали чуть косить.

Игорю казалось, что один глаз устремился на Чернышева, а другой на него. От этого и слова Жихарева приобретали какой-то добавочный, затаенный смысл. Что бы Жихарев ни говорил Чернышеву, глаз его, обращенный к Игорю, усмешливо спрашивал: ну что, парень, слышал? А ты не верил! Кто ж был прав?

С минуты на минуту он ждал, что Жихарев повернется и скажет ему это в упор, вслух. Разговор описывал невидимые круги, то сжимаясь жесткой петлей, то отпуская на время. Хотя бы скорее, что ли! Паршиво то, что теперь уже ничего не исправишь. Трактора «КД» так и выпустили, не заменив ходовую часть. Если бы он тогда не струсил, то оба «КД» удалось бы переделать, а теперь так и отправили их в допотопном виде. Одну машину Малинину, а вторую, как назло, Пальчикову.

— Культура — это надстройка, — неторопливо возражал Чернышев. — Нам базис надо укреплять. Например, мастерские...

Мучительное ожидание, которое весь вечер томил Игоря, натянулось до предела и вдруг лопнуло, и он рванулся напролом, не разбирая слов, не слыша самого себя.

— Между прочим, относительно мастерских проще всего, в определенном положении, валить на меня... В ответ на ваш намек я скажу: если переделывать, так все «КД». А с этой штурмовщиной никогда порядка не будет... — Он заппулся, почувствовав вокруг себя напряженное молчание, и вызывающе уставился на Чернышева: «Вот вам, пожалуйста, выкладывайте, сыпьте...»

— Ишь заело базис! — весело сказал Жихарев, и все заулыбались. Он хотел еще что-то добавить, но Чернышев нахмурился и размеренно, четко сказал:

— Задача, Игорь Савельич, состоит в переходе на круглогодичную ритмичную работу. Это не

просто очередная реконструкция, это перестройка психологии тракториста и колхозника и всего колхозного хозяйства. Избавиться от сезонности. Представьте себе, если организовать работу на тракторах круглый год. Прежде всего человек не будет выключаться из ритма производства. Дисциплина...

— Да и для машины это лучше, — вдруг вмешался Писарев. — Машина тоже нуждается в ритме. Возьмите электромотор...

Великодушие Чернышева бесило Игоря. Чем бы ни кончилась эта борьба Чернышева с Кисловым, факт, что Чернышев одолел его, Игоря Малинина. Но, одолев, Чернышев явно щадил его. И от этого Игорю было еще хуже. Он не просил пощады. Он не нуждался в амнистии. Мысленно он пытался спорить, придирался к словам Чернышева и злился, убеждаясь, что слушает с интересом. Конечно, было бы здорово, если бы удалось наладить круглогодичный ремонт! Тогда будет настоящий завод. И на каждый месяц будет своя цифра, и никаких катавасий! Станут уходить тракторы и приходить тракторы, независимо от посевных и уборочных.

Жихарев подмигнул Игорю:

— И каждый колхоз вам наподобие цеха! Игорь тоже улыбку, потому что Жихареву нельзя было не улыбнуться. Но Жихарев посерьезнел. Он посмотрел на Чернышева, и глаза его перестали косить.

— Психологию, Виталий Фаддеевич, одним графиком не перестроишь, — сказал он трезвым и твердым голосом. — Чтобы круглый год ремонтировать, для этого мы из нашего сарая с нарами настоящее общежитие должны сделать. Коттеджи построить. Чтобы радио играло и электричество всюду было. Трамплин для лыжников. И библиотека. И баня с ваннами. Иначе уйдут ваши постоянные рабочие. Даже Малиутин с Антониной Матвеевны сбегут. И я им помогу.

— Куда же сбегут? — спросил Чернышев.

— В колхоз! — расхохотался Жихарев. — К этой зиме колхозы наши так разбогатеют — держитесь! Малинин уже заявку на два трактора подал. На будущий год Пальчиков штуки три купит. Единственное спасение ваше — ставить все на заводскую ногу. Ремонтный завод. Заводской поселок. Стадион. Теннисный корт.

— Завод! — восхищенно повторил Игорь и тут же в сомнении добавил: — Такие, как Кислов, никогда не пойдут на это.

Жихарев с Чернышевым переглянулись и засмеялись.

— Кабы эта страсть да к ночи, — сказал Жихарев и светло покраснел.

Жихарев вспомнил свой последний разговор в обкоме. Воспоминание это жило в нем неубывающим, радостным раскаянием. Он ждал тяжелых споров, готовился встретить непонимание, отказ, собирался бороться, а получилось все просто и

быстро. «Какие могут быть возражения! — удивился секретарь обкома. — Раз вы считаете, что Писарева надо освободить, освобождайте, вам виднее, мы вам полностью доверяем». И в споре с Кисловым его поддержали, сказав, что вопросы, поставленные в докладной Чернышева, совпали с тем, что обсуждается в обкоме. Жихарев уезжал смущенный, с чувством острого стыда за свои опаски. В обкоме не только сразу все поняли и помогли, но и поняли куда быстрее, чем он сам: они ему верили, доверяли, а он? Стыдно, стыдно...

Чернышев, тот нисколько не удивился, узнав о разговоре в обкоме. Он считал, что иначе и быть не могло, только попросил Писареву ничего не сообщать, пока решается, кто заменит его.

— Славны бубны за горами, — говорил директор школы. — Весна-то поздняя...

Чернышев твердо сказал:

— Это роли не играет. Хотя совсем весны не будет, а план выполним.

— Правильно! — воскликнул Жихарев. — Пять рублей на трудодень. Меньше для начала нам нельзя!

Мужество этих людей поражало Игоря. Ничто не могло поколебать их уверенности.

Стол отодвинули. Жихарев взял баян и начал играть вальс. Игорь рассматривал навешанные на стене репродукции с новгородских фресок. Проходя мимо, Чернышев взял его под руку.

— Нравится? А взгляните на этот образ матери с сыном. Не уступит итальянскому Возрождению! Возьмите только красный цвет. Видите, сколько оттенков! И названия какие чудесные: «брусничный», «червчатый», «кармазинный», «жаркий», «смородиновый»... — со вкусом перечислял он.

Игорь всматривался, открывая то, о чем раньше никогда не задумывался и чего не замечал.

— Для культурного человека тут, в деревне, это, конечно, вроде лекарства от скуки, — сочувственно сказал он.

Чернышев изумленно сморщил лоб, но вдруг сдержанно рассмеялся:

— Нет, Игорь Савельич, искусство нельзя любить от скуки. Да и когда скучать! Времени здесь меньше, чем в городе. Читать не успеваю. Статью мечтаю написать о местной архитектуре. Маше помочь с историей. Да что там! Погодите, осенью кружок организуем по истории края, и вас заставлю туда ходить. Почувствуете, что такое искусство и какие у нас тут кругом клады.

Когда он отошел, Жихарев укоризненно покачал головой.

— Ну и лягнули же вы! Умница он, что не обиделся.

— Не пойму я его, — упрямо возразил Игорь.

— Это тоже хлеб, — задумчиво сказал Жихарев. — А такие, как Чернышев, всюду живут полной жизнью. Он не считает, что попал в дру-

гой мир. Он не подчиняется, а подчиняет. Не потребитель, а производитель. Человек вот этим должен широко пользоваться. — Он постучал себя пальцем по лбу. — Фосфора не жалеть...

И рванул малиновые мехи баяна.

Золотая луковица керосиновой лампы покачивалась, вытягивая и ломая тени. Жар волнами обдавал лица танцующих. Рассохшиеся половицы скрипели, цеплялись за каблуки. Чернышев танцевал старомодно, но легко. Он держал Тоню двумя пальцами за руку и едва касался талии. Танцуя, он рассказывал, как двадцать лет назад он мечтал стать преподавателем танцев и придумать специальный советский танец, что-нибудь вроде стахановской румбы. Тоня громко смеялась, откидывая голову. Игорь сидел в углу, грыз горюх и злился. От этого она смеялась еще громче. Внезапно оборвав смех, она сказала:

— Успокоили бы вы моего Игоря, Виталий Фаддеевич.

Чернышев не ответил.

— Или пропесочьте его, — раздосадованно сказала она. — Все лучше, чем так. Неужели вы не замечаете, как он мается?

— Мается? Он мается? Это прекрасно. А с вами танцевать — одно удовольствие, — сказал Чернышев. — Я бы не отпускал вас весь вечер. Увы, гостеприимство не позволяет!

Тоня остановилась.

— Виталий Фаддеевич, вы меня считаете девчонкой?

— Нет ничего полезнее, как самому перестрадать свои промахи, — мягко сказал Чернышев. — Это действует крепче любого наказания.

Его сухое лицо походило сейчас на измятую и затем разглаженную бумагу. — все в мелких жестких складках.

Она не до конца поняла его мысль; там было что-то серьезное и важное и, может быть, полезное и доброе для Игоря; но ей вспомнилось, сколько тяжкого пришлось им пережить из-за всех этих неприятностей, и слова Чернышева показались ей бесчеловечно холодными и сам он — сухарем, эгоистом.

В этой душевной тесноте трудно было показать высший класс танца. Все же, когда она пошла с Игорем, Надежда Осиповна перестала танцевать и, обмахиваясь платочком, села с Писаревым на диван, продолжая следить за Тоней своими ленивыми зеленоватыми глазами. На этом вечере они были самыми молодыми из женщин, и между ними сразу возникло бессознательное и бесцельное соперничество.

Тоня прижалась к Игорю.

— Бедный ты мой... Когда мы последний раз с тобой танцевали?

Пожалуй, это было недели две после свадьбы. Геннадий потащил их в клуб. Игорь вспомнил скользкий под ногами паркет, сияние хрусталь-

ных люстр... Хорошо, что он согласился пойти сегодня...

— Ты доволен?

В коричневых волосах ее белели вплетенные цветки подснежника. Он сорвал их утром у Матвеевой балки. Наклоняясь к ее волосам, он слышал дыхание подснежников — бесхитростный аромат зелени. Он крепко прижал к себе Тоню. Доволен ли он? Не разберешься. Тени опадали и снова вытягивались, ломаясь на потолке. Директор школы играл на гитаре, а Жихарев, уронив голову, сыпал переборами баяна. Русые волосы его прилипли к потному лбу, полужакртытые глаза глядели с ледяным безразличием. Он сейчас в точности походил на тех румяных, русокудрых гармонистов, каких Тоня привыкла видеть в кинокартинах.

— Каков! — шепнула она Игорю.

Он почувствовал, что она мысленно сравнивает его с Жихаревым. Ему тоже хотелось быть таким, как Жихарев. Он сбился с такта и отпустил Тоню. Тотчас к ней подлетел Нарышкин. Игорь подсел к мужчинам. Там обсуждали, где лучше сеять кукурузу. Жихарев посмотрел на Надежду Осиповну и рванул «цыганочку». Надежда Осиповна вышла на середину комнаты и пошла кругами. Она останавливалась то перед Писаревым, то перед Жихаревым, поводя пышными плечами. Сквозь сонно-спокойные движения ее тела вдруг прорывался манящий огонек. Она поднимала руки, и груди ее поднимались, и в эту минуту она словно взлетала вверх. Но уже в следующее мгновение она плыла, удаляясь, закрывая лицо косынкой, скользкая, непонятная, бесстыдно поблескивая зелеными глазами.

— Надежда! — укоризненно сказала Мария Тимофеевна. — Пожалей ты мужиков.

— Чего их жалеть? Они нас не жалеют, — засмеялась Надежда. — Эх, да и какой тут стыд, сжали я под музыку начальства пляшу?

Жихарев не выдержал, расхохотался. От этого смеха Игорю вдруг стало тепло и весело. Если бы Игорь хотя бы умел играть на баяне, как Жихарев!

Он вышел на кухню. Там у печки стоял Писарев и жадно курил. Игорь взял его под руку.

— Я больше вас виноват. Мог и ничего не делать. О себе беспокоился, а дело губил. Я им не верил и вам не верил. Это хуже всего, — сказал он. — У вас все образуется, вы не горюйте.

В благодарной улыбке Писарева было что-то потерянное. Писарев съежился, веки его стали быстро краснеть.

— Да, да, теперь я знаю, что Кислов не прав. Мне сообщили. Теперь мы все наладим, мойку смонтируем, и яльцевскую камнедробилку. Вы не обижайтесь на меня, Игорь Савельевич, мне приходилось...

— Я понимаю, — сжимая его руку, сказал Игорь. — Я сам...

— Да, да, — не слушая его, сказал Писарев. — А я даже телеграмму не получил, с праздником...

Глаза его захлестнуло вздрагивающим, слепым блеском. Он рванулся и, шаря по стене рукой, вышел в сени.

Игорь вернулся в комнату. Шипя, играл патефон. Директор школы показывал карточный фокус. Рядом с Тоней сидел Нарышкин и, захлебываясь, обнимая спинку ее стула, говорил:

— Корма плюс механизация на фермах, Тонечка, — и у нас молочные реки потекут. Не ценят нас, ветеринаров. Нанесложнейшая в мире специальность. Животное ничего разъяснить о себе не в состоянии, где болит, как болит, абсолютная индифферентность...

— И как же вы узнаете?

— Здесь-то и заключается секрет. Мне слов не надо. Посмотрю на вас — и все узнаю. Ветеринар — это самый чуткий человек.

Тоня, заметив Игоря, начала громко смеяться. Когда он подошел, она нахмурилась и спросила:

— Что с тобой?

— Ревнует, — сказал Нарышкин. — Он аллигатор. Как вы с ним живете, Тонечка, это же опасно и скучно! Зачем вам тракторы? Разводите с ним и выходите за меня. Вы любите животных?

— Дима, заткнись, пожалуйста, — медленно проговорил Игорь.

Он рассказал им о Писареве. Игорь не обращал внимания, слушают они его или нет, он рассеянно выдавливал слова, и лицо его было отсутствующим, как будто он старался что-то вспомнить и не мог вспомнить.

— Какая же его жена, извиняюсь за выражение, стерва, — сказал Нарышкин. — И зачем люди женятся? Какая-то эпидемия. Надо с детства прививку делать против женитьбы.

— Послушайте, мальчишки, так же нельзя, — сказала Тоня. — Мы должны реагировать.

— Что-то надо придумать, — повторил Нарышкин.

Они выжидающе смотрели на Игоря.

— Почему я, какого черта должен я? — сквозь стиснутые зубы, ощерясь, сказал Игорь. — С какой стати? Мне своей хворобы хватает. Мы с Тоней пойдем гулять сейчас. Сядем на мотоцикл и поедем гулять. А ты сиди и придумывай.

Во дворе к самому крыльцу подступила густая звездная тишина. Игорь взял Тоню за руку.

— Ты что? — сказала она. — Пустн сейчас же. Больно!

Они подошли к мотоциклу. Крыло луны вырывалось из частых ветвей березы. Синие тени бесшумно неслись по земле, гася и поджигая зеленым пламенем распластанные лужи. Игорь поставил ногу на педаль стартера. Тишина отпрыгнула, испуганная сбивчивым перестуком. Посеребрен-

ное луной шоссе призывно вытянулось. Игорь сунул руку в карман, нащупал очки.

— Поехали? — спросила Тоня.

— Подожди.

Он бегом вернулся в дом, вошел на кухню и крикнул с порога:

— Виталий Фаддеевич!

Чернышев вышел на кухню, позвякивая корбкой патефонных иголок.

— Вы что, уже уходите? Рано, рано.

— Собрались покататься, — сказал Игорь.

— Смотрите, осторожнее, дорога сейчас скользкая.

— Ничего, я гнать не буду.

Они замолчали. На дворе тарахтел мотоцикл. «Пусть прогреется», — подумал Игорь.

— Ну что же, — сказал Чернышев, — конечно, вам со стариками не очень-то...

— Нет, нет, все было правильно, — сказал Игорь.

— Виталий! — позвала Мария Тимофеевна. — Сейчас, сейчас.

Сердце у Игоря колотилось все сильнее.

— Вы думаете, как? Чугунный я? — вдруг сказал он. — Посылайте Писарева в командировку. Совсем отпускайте, Виталий Фаддеевич, как предлагали. Я справлюсь. Мне ничего не надо.

— Спасибо, — просто сказал Чернышев. Твердые черты лица его расплавила непривычная мягкая улыбка. — Поскольку вы согласны временно замещать, все улаживается. Только сегодня дело праздничное, вы еще взвесьте и мне послезавтра напомните. Тогда и затвердим.

Игорь кивнул и выбежал на крыльцо.

— Ты что так долго? — крикнула Тоня.

Он засмеялся.

— Забыл одну вещь сказать.

Он уселся, включил скорость и выехал на шоссе.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Три дня Тоня ездила по колхозам, проверяя отчетность. Когда она вернулась, Игоря дома не было. Тоня растопила плиту, поставила греть ведро с водой. Она с трудом стащила с ног грязные, расквашенные, насквозь сырые сапоги и села у плиты. Пальцы на ногах посинели от холода. Морщась, она гладила натертую пятку. Сырые поленья шипели и стреляли в печке. Огонь поминутно гас, Тоня становилась на колени и дула, плача от дыма. Немыслимо было представить себе, что где-то на свете существует ванная, выложенная белым кафелем, и в ванну можно залезть, вытянуть ноги, и горячая вода зальет все тело по самый подбородок. Неужто она, Тоня, мылась в такой ванне, могла мыться в ней каждый день, и ванная была у нее в квартире, достаточно было повернуть кран с красным кружком!..

После всего виденного в течение этих трех дней вспомнить о ванне казалось дико и постыдно.

По дороге в Левашу им с Надеждой Осиповной встретилось стадо. Страшные, тощие коровы, хмельные от весеннего воздуха, шатаясь, брели через залитое водой поле. Розовые пятна пролежней глянцево блестели на их ребристых боках. Коровы с трудом вытаскивали дрожащие ноги из жидкой земли. Пастушонок возился возле двух коров, увязших в грязи. Он дергал их за рога, отбегал и манил, протянув пустую руку и прищипывая, в отчаянии колотил их кулаками между глаз. Коровы бессильно вздрагивали и тихо мычали. Надежда Осиповна изругала пастушонка и пошла в деревню за народом. Пастух побежал собирать разбредшееся стадо, а Тоня осталась одна.

Она подходила то к одной корове, то к другой, гладила их, уговаривала и с ужасом замечала, как они опускаются все глубже в расквашенную землю. И стоило самой немного постоять на месте, как ноги тоже засасывало. Надежда Осиповна привела трех женщин с лопатами и веревками. Стали окапывать землю вокруг коровы, а грязь снова наплывала. Тоня стерла кожу на ладонях. Подсунув веревки под облезлый живот увязшей коровы, тянули, снова копали, подстилали хвост, чтобы самим не увязнуть. Одну корову вытянули, на вторую сил не хватило.

— Надо мужчин позвать, — сказала Тоня.

— «Мужчин», — передразнила Надежда Осиповна. — Стрючки да старички, их самих за хвост поднимай.

Уходили с поля, устало ругаясь. Тоня что ни шаг оборачивалась. Корова лежала в подмерзающей грязи и, повернув голову с белой метиной, смотрела вслед людям. Лиловый глаз ее тоскливо блестел. Протяжно кричали чибисы. Серое, точно изрытое небо сочло изморось. Вдали чернели избы Левашей. Коричневый бугор оставленной в поле коровы становился все меньше, белела лишь метина. Всю дорогу Тоня чувствовала спиной устремленный к ней большой, лиловый, почеловечески умоляющий глаз.

Когда зашли на скотный двор, Тоня сперва не поняла, почему там так светло и ветрено. Потом подняла голову и обомлела. Крыши не было. На сером небе блестели мокрые ребра стропил. Несколькo пучков старой соломы торчали, зажатые поперечинами. Мелкий дождь сыпал в глаза. Дрожащие телята кричали безумными от голода, сильными басами и тыкали сквозь жердины скользкие морды. Тоня скормила им один за другим взятые с собой бутерброды.

Рядом стояла молодая доярка, грызла соломинку и усмехалась. Тоня стиснула губы, достала из кармана шоколадную конфету, развернула и сунула теленку.

— Они же у вас помирают, — сказала она.

Доярка сплюнула с толстой губы откушенную соломинку:

— Подохнут — свиньям скормим.

— Как вы можете так, это же ваши коровы!

— Моя дома стоит! — И доярка вызывающе засмеялась.

Тоня шагнула к ней. С силой вытащила из вонючей жижи ноги в тяжелых, задепленных бурой глиной сапогах. Что-то, царапая, поднялось к самому горлу. Только бы не расплакаться — вот чего она боялась! Она заговорила все быстрее, быстрее, пока на душе у нее не стало холодно и жестоко. Она искала слов, которые содрали бы ухмылку с этой кирпичной физиономии. Таких колхозников надо судить, как самых вредных преступников, — до чего довели хозяйство! Ни совести, ни стыда, это ж надо зверем быть, неужели не жалко животных, даже простое чувство жалости!..

— Жалко у пчелки, — доярка засмеялась ожесточенно и вызывающе, — а у вас конфетки с жалованья заместо жалости. А нам хотя бы все они скорей передохли. — Она издевательски подмигнула Тоне. — А что? Ни денег с них, ни молока. Больше сена для своей скотины останется. Вот какой наш интерес! — И она зажмурила глаза и широко открыла губы, изображая смех.

— Ольга! — крикнула, подходя, Надежда Осиповна. — У Синюшиных мостков солому почему не брали?

— Затопило там все, — сказала Ольга.

— А лошади? Не тнут?

— Где там! — Ольга махнула рукой. — Мы всё на себе таскали. А теперь там вода по пояс.

— Дожили... Хозяева, тьфу! — сплюнула Надежда Осиповна.

— Уж вы-то, Надежда Осиповна... — начала Ольга, лицо ее задрожало, стало маленьким. — Это вот ей языком трепать. — Она дернула головой в сторону Тони. — Приехали тут... А вы-то... Мы третьего дня остатнюю солому с крыши таскали. Анисья до сих пор лежит. Я упала, палец сломала. — Она выставила ногу, обмотанную грязными тряпками, в старой галоше, привязанной веревкой. — Ходить не могу. — И она заревела с отчаянием, навзрыд, слезы затопили все ее лицо. — Ровно лошади, на себе весь месяц таскали. Из-под снега руками собирали... Кормов-то нет.

— Будет тебе, не хлюпай, — крикнула Надежда Осиповна. — Телят-то могла себе парочку поставить.

— Поставила, — всхлипнула Ольга, — и наши все взяли. — А этих вот куда?.. Нам хоть бы Алмаза прокормить. Мы ему свое сено носим. Мы с Федосеей тут одни крутимся. Тут еще нога болит, к доктору не на чем съездить. Пропадут они, совсем пропадут. — Она заткнула рот концом платка, судорожно давясь плачем. Тоня почувствовала, как едкие слезы, обжигая веки, побежали у нее по щекам. Так они стояли и плакали.

Надежда Осиповна обняла их, пошлепывая по плечам. Бабы слезы унимать бесполезно. Когда пришел однорукий бригадир, сказала ему с веселой злостью:

— Закончите летом новый коровник, заставим не соломой, а шифером покрыть и лишим вас основной кормовой базы. Тогда завертитесь!

И все засмеялись. Все, кроме Тони. Она не понимала, как тут можно смеяться, как Надежда Осиповна умудряется различать что-то хорошее, верит во что-то, шутит!.. Она знала, что колхоз в Левашах считается самым бедным, запущенным, но сейчас ей показалось, что и остальные колхозы не лучше, и там тащат предую солому с крыш и парят охапки жестких веток.

Ночевали в избе однорукого бригадира. В углу висели почернелые иконы, а внизу — новенький радиоприемник «Балтика». На стене под разбитым стеклом — фотографии, вся родословная хозяев. Жёнихи и невесты с букетами в руках, новобранцы царской армии в погонах, чубатые парни в буденновских шлемах, бородатые старики в поддевках и картузах, новорожденные на руках у преждевременно постарелых матерей, и снова солдаты на фоне каких-то чужих городов с острыми шпилями, и снова парни в пиджаках со знаками, медалями, с гармониями. Где они, эти плечистые парни, эти бородатые мужики? Тоня вспомнила своего старшего брата, убитого на войне. У них дома, в Малой Вишере, тоже висела фотография брата и отца с матерью в день свадьбы. Отец с лихими усами, с тросточкой для шпку, а сейчас он ходит на лесопилку с настоящей палкой, тяжело опираясь, и часто останавливается на подьеме.

Надежда Осиповна куда-то ушла, вернулась поздно вместе с хозяйкой, мокрая, охрипшая.

— Вытащили эту доходягу. Утром поезжайте в колхоз к Малинину за концентратами.

Хозяйка расцвела. Это была маленькая, усталая женщина в засаленной кофте, измученная мальшом, которого она с трудом уложила и стала баюкать тоненьким, повеселевшим голоском.

Надежда Осиповна обрадовалась, увидев на столе у хозяйки новенькую брошюру о кукурузе, и принялась экзаменовывать бригадира.

Радость ее раздражала Тоню. Почему все они притворяются уверенными? Что за притворство, как можно радоваться брошюре и забыть о коровах, не видеть этой тесноты, дощатого, пахнущего кислым стола, пластмассовых тарелок, тряпья, наваленного на печи!

Давно погасили свет, все заснули, а Тоня лежала с открытыми глазами. Из маленьких, тусклых окошек, заставленных чахлыми цветками, с трудом проникал неверный свет луны. На большой белой печи сонно попискивали дыплята. Воздух был душный, тяжелый, и от всего этого на Тони повеяло какой-то тоскливой древностью.

Она проснулась посреди ночи в ужасе, ей приснилось поле, залитое водой, в черной, расквашенной земле тонул огромный лиловый глаз. Тоня подбежала, хотела вытащить его, но это оказался Игорь. Земля скрыла его по пояс; он протягивал к Тоне руки и что-то кричал. И, как это бывает во сне, все в ней стало ватным, и, вместо того чтобы ему помочь, она убежала, охваченная ужасом и мукой.

Она разбудила Надежду и, крепко прижимаясь к ней, начала шепотом рассказывать про сон. Надежда Осиповна долго ничего не могла понять, потом зевнула, потянулась, по-кошачьи выгибаясь, и, пожалев Тоню, спросила, как Игорь привиделся ей: с рогами или без? Если с рогами — значит, все в порядке. Потом она долго бранила Тоню и доказывала, какой будет хороший колхоз в Левашах через год-полтора. Потом она рассказала о себе. Муж ее погиб в последний год войны. Был он студентом, на агронома учился. И такая взяла ее тоска: год из дому никуда не выходила. Книжки стала читать, по которым он занимался, тетрадки его, и решила стать агрономом. Поступила в институт, где он учился, слушала профессоров, которых он слушал. Вроде растревляла себе сердце, а все какое-то утешение.

И только приехав в район после института, увидела, как нужно живым все, что она делала ради себя, ради своей памяти о прошлом. Бедность кругом невылазная, послевоенная. На месте этих Левашей одни головешки торчали! Теперь куда там, не сравнишь, все заново отстроили! Вот в другой раз покажет Тоне, какой Малинин на берегу Маковки коровник отгрохал, ровно снаторый, а к зиме и здесь телятник кончат...

Тоня боялась закрыть глаза. По белой печи скользили дымные тени. Ветер плаксиво стонал за окнами. Утешения Надежды Осиповны казались ей жалкими и бессильными перед огромностью изрытого тучами неба, перед трудной, бедной землей этого болотного края. И Тоня была уверена, что Надежда сама не верит своим словам и говорит их потому, что ей самой страшно и бесприютно и хочется как-то оправдать свою жизнь, заполненную скучными хлопотами о семенах, о гектарах, ночевками в чужих избах, размытыми глинистыми дорогами, сырыми туманами.

— А ты как проектировала? — вдруг грубо, с небрежной жалостью спросила Надежда Осиповна. — Ходить по полям и цветочки собирать? Корову вытащила, а сама увязла. А еще заводская! Пыльца ты, а не человек.

Тоня стиснула руками щеки. Пусть, пусть говорит, лишь бы не остаться одной в этой нескончаемой ночи.

— А ну тебя! Не умею я баб утешать, — засыпая, сказала Надежда Осиповна.

Ничто не могло уязвить Тоню больше этого слова.

«Заводская» — предмет ее гордости, тщеславия, тайного превосходства над всеми здешними женщинами, над той же Надеждой. Любая из них и пройти-то побойтся через прокатный цех! И вдруг оказалось, что не они, а она, Тоня Малюткина, предстала перед всеми беспомощной и жалкой. Все вдруг повернулось, никто ей уже не завидует, не восхищается. Ее утешают, жалеют. Даже эта доярка, и та способна сделать здесь больше, чем она, Тоня Малюткина. И Надежда, и этот бригадир, и доярка что-то могут, что-то видят впереди, одна она болтается здесь бесполезной пустышкой, фифочкой...

К приходу Игоря Тоня прибрала комнату, умылась, накинула халатик — чистенькая, свежая, словно и не ездила никуда. Расчесывая мокрые волосы, всматривалась в зеркало и удивлялась, почему ничего не отражается на лице: «Что с тобой творится, милая моя?» И, рассказывая Игорю, тоже удивлялась: почему он не понимает, о чем она говорит? Получалось, как будто ее больше всего трогает история с коровой.

— Мы-то как себе представляли, — говорила она, — электродоилки всякие, доярки в белых халатах.

Игорь смеялся.

— Чудачка. Электродоилки — это легче всего, было бы что доить.

Он шутил с той же веселой злостью, какую она заметила у Надежды Осиповны, относился к этому так же, как если бы у него не хватало каких-нибудь деталей для ремонта, или обнаружился брак, или кто-либо из трактористов начинал скандалить из-за расценок.

— Да, в Левашах у нас кавардак, — говорил он. — Надо их брать за жабры.

Она слушала его устало и отчужденно. Оба они говорили об одних и тех же вещах, оба возмущались — и не понимали друг друга. И это было хуже, чем если бы они спорили.

Она бросилась на кровать лицом в подушку.

— Дура я, уговаривала тебя ехать!.. Дура!.. Это я виновата!..

Ласково-встревоженные уговоры Игоря только лучше возмущали ее. Не любит он ее, иначе он понял бы, что с ней происходит. Ей хотелось, чтобы он говорил о том, что сидело в ней и мучило ее, а он утешал ее, как маленькую, капризную девочку, лишь бы скорее успокоилась и он мог бы сесть за свои бумаги. С тех пор как Писарев уехал, работа заняла его целиком. Теперь ему не требовалось никакой поддержки, она, Тоня, нужна ему как жена, и только. Приготовь, накорми, прибери, будь всегда веселой и милой, и главное — не мешай.

Так же, как в Ленинграде, когда он решил купить письменный стол.

И как тогда, когда он ничего не сказал про вызов в райком.

Обиды вспоминались легко. Их можно было прощать, но, оказывается, память сохраняла их весьма аккуратно...

Прежний диспетчер вернулся из отпуска. Тоню перевели работать плановиком. Она должна была сидеть в общей комнате бухгалтерии безотлучно все восемь часов. Старик бухгалтер запрещал всякие разговоры. В посевную ей предстояло мотаться по колхозам за всякими сведениями и снова чувствовать себя беспомощной свидетельницей среди людей, занятых настоящим делом. Возня с бумажками, всевозможными отчетами, формами казалась ей теперь кошмаром.

Она старалась не думать о будущем. Как будто его вовсе не будет. Вечерами она забиралась на кровать, куталась в платок и часами молчала в угрюмой неподвижности. Это было так не похоже на нее, всегда деловитую, непоседливую, что Игорь не знал, что придумать. А ей вдруг все опостылело. Она рано ложилась спать и часто просыпалась посреди ночи и лежала до рассвета с открытыми глазами, охваченная тупым презрением к себе. В их отношениях с Игорем установилось так, что он всегда искал помощи у нее, она его подбадривала, она его утешала, она считала себя сильнее. Признаться ему в своем ничтожестве было невыносимо. Расспросы раздражали ее. Вид возбужденно-счастливых людей, энергичная деловитость Игоря, его рассказы о работе — все это вызывало у нее почти физическое отвращение. Так больному человеку претят запах еды и здоровые люди, занятые этой едой.

— Тоник, у тебя, может быть?.. — спросил Игорь, покраснев и обнял ее.

Она замотала головой, но вдруг перепугалась, не того, что она беременна, а того, что может забеременеть. Это было бы ужасно.

— А я думал, ты из-за этого нервничаешь, — смущенно пробормотал он.

Его это, конечно, вполне устраивало бы. Просто и удобно. Он полагает: раз он любит — этого вполне достаточно, чтобы она чувствовала себя счастливой. Ему-то что, он при деле. Но она не желает жить только его переживаниями. Она ничем не хуже его. Она тоже хочет иметь свое место в жизни. Сегодня ее жалеет Надежда, а завтра, чего доброго, Игорь начнет смотреть на нее с жалостью.

— Не хочу я больше строчить бумажки в этой конторе. Не хочу! Не хочу!

— Что ж ты будешь делать? — недоуменно спросил он.

— Найдется, что делать... Заниматься буду. (У нее есть специальность. Надо окончить институт, стать конструктором, и тогда посмотрим, кто пыльца. Она покажет им пыльцу!) Я совсем запустила занятия. Мне нужно нагнать. Ты об этом не беспокойся. Ты ни разу не подумал, что я не могу и вести хозяйство, и заниматься, и работать...

Она приготовилась к борьбе, к тому, что он будет возражать, но она настоит на своем во что бы то ни стало. Ожидаемое сопротивление воодушевляло ее.

Игорь вспомнил, как в Ленинграде они чуть не рассорились, когда он хотел купить письменный стол, чтобы заниматься. Как Тоня обиделась, а потом сама уговаривала его...

— Чего ты улыбаешься? — спросила она.

Он обнял и поцеловал ее в глаза. Просто он доволен, что она наконец возьмется за учебу.

— То есть все же останусь при тебе, — медленно возмутилась она, — буду сидеть дома и заниматься? Имей в виду — я поеду в Ленинград сдавать экзамены!

— Что ж, поезжай, — сказал он, — только ненадолго.

Смущенная, разочарованная и довольная тем, что все разрешилось так легко, она благодарно потерлась о его щеку.

В этот вечер они чувствовали себя совсем влюбленными друг в друга. Они без конца целовались, как в первые дни после свадьбы, и боялись, чтобы к ним кто-нибудь не пришел. Они погасили свет и, стоя на коленях перед печкой, разводили огонь. Дым от сырых дров ел им глаза, и они, плача, смеясь, вслепую искали губы друг друга, и комната была полна дыма, и они, обнявшись, сидели перед открытой печкой, исполненные теплой и спокойной нежности.

Тоне всегда казалось, что их не двое, а трое. Третий был некто невидимый, связывающий их. У него всегда было свое настроение, то хорошее, то сердитое. Игорь назвал бы это каким-нибудь магнитным полем, но она представляла его в виде домового, маленького, мохнатого живого существа с множеством курчавых хвостов и лап. Оно что-то лопотало, мягко обнимало их за плечи и радостно прыгало вместе с багровыми языками огня.

Больше не нужно торчать в бухгалтерии. Можно сидеть дома и заниматься, готовиться к экзаменам, чертить, решать задачки. У нее хватит упорства и воли.

Преодолев и дождь и гром
Крылом, свистящим в летной славе...

Эти стихи читал ей Ипполитов, дальше она забыла.

— Забросил ты свой «Ропак» насовсем, — вздохнула она.

В конце концов мастерская и трактористы — не его специальность, не следует забывать о будущем.

Он поморщился: где уж там, вот какая загрузка! — провел пальцем по горлу. В его озабоченности была бодрость и подавленная печаль. У него и в мыслях не было укорять ее, но она устыдилась: эгоистка. Она-то могла позволить себе заниматься, потому что он работает, она-то

имела возможность выбирать, потому что он не имел этой возможности.

— А если еще не скоро приедут инженера на место Писарева?.. Осчастливил ты его. Представляешь, как жена Писарева обрадовалась!

Какая-то странная неловкость возникла при этом упоминании. Она почувствовала, как настоужился тот, третий, он словно снял лапы с их плеч, сжался, готовый выпустить колючки.

«Нет, нет, ведь я не такая, — мысленно убеждала она его, — я уеду и вернусь. У меня экзамены...»

Она вскочила, принесла банку консервов, хлеб, клюквенное варенье, холодную картошку. Они устроили тут же на полу, у печки, кутеж. Они не говорили больше о серьезном. Они ели его любимые бычки в томате, бросали косточки в огонь, там трещало, фиолетово вспыхивало. Тоня лежала на полу, на полосатом половичке, болтала ногами и читала на память стихи Есенина.

Комната, если смотреть на нее с полу, была очень забавной. Под кроватью и под столом обнаруживались всякие забытые вещи: давно потерянная катушка ниток, карандашик, несколько окурков, запихнутых туда трактористами; возле ножек мохнатилась паутина, и вообще оказалось, что в комнате множество ног — железных, деревянных, тоненьких, толстых, — и вот-вот все они двинутся, зашагают...

Увольнение удалось оформить быстро, все понимали и сочувствовали: надо заниматься, — и теперь, проводив Игоря на работу, Тоня с утра добросовестно садилась за книги.

До сих пор к своим занятиям в заочном институте Тоня относилась с беспечным спокойствием, зная, что независимо ни от чего ей придется закончить институт. Как это произойдет, она не представляла себе. Скорее всего обстоятельства заставят ее, так же как заставляли до сих пор. Два года назад тетка устроила ее на завод в КБ. Главный конструктор, узнав, что она окончила десятилетку, заставил ее подать заявление в заочный Политехнический институт.

Всегда кто-то заботился о ней, беспокоился, проверял, и она привыкла к тому, что иначе быть не может. Когда она училась в школе, за ней следили родители, пионервожатые, классные руководители, староста класса, стенгазета. Если она получала двойку, ее вынуждали пересдавать этот предмет, и она знала, что ей придется пересдавать до тех пор, пока она его сдаст. Комсомольцы в КБ следили за тем, как она занимается. На время экзаменов ей давали оплаченный отпуск. Преподаватели в институте старались вытянуть ее. На заводе тоже были заинтересованы в том, чтобы она не бросила учиться.

Образование никогда не было для нее стремлением, целью, за которую надо бороться. Оно ско-

рее было чем-то положенным, так же как и многие другие вещи в жизни, такие, как работа, жилье, отпуск, деньги, дом отдыха. Об этом не надо было беспокоиться, этого не надо было добиваться, это полагалось по жизни, так же как полагается человеку паспорт. Поэтому и здесь, в МТС, она приняла как совершенно естественное, что Чернышев пошел ей навстречу, освободив ее, и дал ей даже выходное пособие, и что Игорь ежедневно контролировал ее занятия, и что занятия считались у них теперь важным и ответственным делом.

Игорь уходил, она убирала со стола и с гудком садилась за учебники. Где-то в мастерских урчали машины, успокоенно шумел движок, но все звуки доносились приглушенно, громче всех стучали на крыльце куры. За несколько дней она покончила со всеми чертежами по деталям машин. Сказывалась практика на заводе. Чертежи получились аккуратные, особенно хороши были надписи и таблицы, сделанные красивым косым шрифтом.

Однажды, когда она вернулась из магазина, дома сидели Игорь и Ахrameев. Она взглянула на чертеж и ахнула. Посреди листа расплылось огромное черное пятно пролитой туши. Она закричала, заплакала, а они захохотали. Оказалось, что Игорь замазал тушью кальку, вырезал кляксу и положил ее на чертеж. Хорошо, что он удержал Тоню, а то, не разобрав, она рванулась бы разорвать чертеж. Она сама не ожидала от себя такого волнения. Когда все выяснилось, она вспомнила, что первая ее мысль при виде залитого чертежа была: «Какой ужас! Я не успею к сессии — значит, не смогу поехать в Ленинград!»

И ей стало ясно, что надежда побывать в Ленинграде хотя бы несколько дней бесконечно дорога. Эта надежда крепла по мере того, как появлялась уверенность, что удастся нагнать запущенные занятия. Она с азартом принялась за скучнейшие задачи по сопромату. Некоторые из них показались ей даже любопытными. Она с яростью одолевала громоздкие формулы органической химии. Постепенно она входила во вкус. О поездке в Ленинград не говорилось ни слова. И сама она гнала от себя эти мысли, но ожидание помогало ей.

Раз в два-три дня она ходила в соседнюю деревню Ногово за продуктами.

Тропинка пересекала поля напрямик, через взгорья, мимо кладбищенского холма. Тоня поднималась на кладбище и подолгу сидела на скамейке. В старых березах жила шумная колония грачей. Большие, растрепанные гнезда торчали на каждой ветке. Грачи с криками носились над маленьким кладбищем, дрались, ремонтировали свои гнезда; распушив крылья, качались на ветках, смешно рыча. Сюда залетели чибицы и птицы, похожие на городских воробьев, но с зеленоватой грудкой. Непрестанный веселый птичий гам разгонял печальную торжественность

кладбища. Несколько могил было обнесено железными оградками, остальные были простые холмики, обложенные дерном. На почерневших деревянных крестах висели застекленные маленькие иконки, обмытые добела металлические венки. Кладбище заросло ежевикой, маленькие липы и березки тарасили отовсюду свои красные, налитые весенним соком прутья. Видно было, что на кладбище давно никого не хоронили. Хозяйка, у которой Тоня покупала картошку, румяная, хлопотливая старушка, жаловалась: «И хоронить некого. Рождаются рождаются, а смерть никого не берет, а если помирают, так всё больше в чужих местах. Вырастают — и уезжают».

Может быть, потому, что не было свежих могил, кладбище не вызывало у Тони грустных мыслей. С холма, далеко, откуда доставал глаз, простиралась поля с буро-зелеными полосками межей, яркой, обмытой зеленью озимых. Канавы были полны синим блеском талой воды. И небо было такое чистое, голубое, что Тоне хотелось окунуться в него, потереться щекой о его холодную гладь. В городе она не замечала прихода весны. Вдруг становилось тепло, вдруг оказывалось, что на пляже у Петропавловки загорают, вдруг заводские садовники высаживали цветы и на заводе объявляли первый выезд куда-нибудь в Решино, где уже зеленел лес и можно было собирать ландыши.

Здесь все было иначе. Весна наступала медленно, и Тоня видела малейшее ее движение. Тоня срывала почки, растирала между пальцев их зеленую мякоть и чувствовала, как день ото дня густеет запах зелени. Из бесформенной массы возникали свернутые крохотные, липкие листки. С нежностью она расправляла их сморщенные гелльца.

Белые колонны берез уходили далеко ввысь, черные, тонкие ветки сквозили в дрожащем, пропитанном синью и светом воздухе. На солнечных местах сквозь прелые, прошлогодние листья вылезли зеленые иголки травы. Они были такие маленькие, что ветер не мог пригнуть их.

Тоня замечала все, самую ничтожную малость, и радовалась оттого, что видит все. На душе у нее было светло, счастливо и немного печально. Она смотрела вокруг внимательно, добро, словно стараясь запомнить и камни ограды, заросшие голубым лишайником, и залитые водой кусты, поля с коричневыми буграми наземь, и далекий дымок мастерских. Было грустно, как человеку, который прощается с этими местами, и не увидит ни цветущих кустов ежевики, ни птенцов в грачиных гнездах, и не узнает, каким цветом расцветут эти мохнатые ветки у партизанской могилы с красным деревянным столбиком и звездой наверху.

— Так ведь я и не прощаюсь, — улыбалась она, удивленная своей печалью. — Мы скоро увидимся, — обращалась она к двум молодым

березкам. Они росли рядом, и ветви их срослись между собой. Тоня впервые видела такое, в этом чудилось что-то человеческое. Березки, солнечный простор полей, и птичий гам, и новенькие желтые домики деревни — все, что навевало на нее раньше тоску, вдруг показалось сейчас дорогим, трогательным и прекрасным.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

«Здравствуй, Игорь!

Пишет тебе твой бывший друг Семен Загода, которого ты, видно, забыл, потому что давно от тебя вестей нет.

Ясное дело, ты стал теперь начальством, командуешь большим производством, мы все читали твоё описание и рады за тебя. Один только Чудров высказал ехидное сомнение, поскольку, он говорит, бывал когда-то в ваших мастерских. Но мы ему вправили мозги, указали на прогресс техники и его собственную отсталость, из-за которой он сбежал из колхоза.

Привет тебе и Тоне от всех наших ребят, от Кати особо, на Первое мая пиши за ваши успехи. Привезли нам новые пресса. Сила! Для чехов будем насосы делать. Чуешь, для Чехословакии! Это тебе не Турция, это передовая страна на Западе, вот куда мы двинулись! Производим также запчасти для комбайнов по линии вашего сельского хозяйства. За прошлый месяц план вытянули и премию получили. А как в этот квартал будет — сплошная неизвестность, скорей всего плохо, ввиду многих событий. Опишу тебе во всех подробностях, а почему — узнаешь в конце.

Полагалось у нас закончить реконструкцию «Ропаса» к 10-му числу. Но монтаж затянулся. Известно, как наши снабженцы чикаются. То кабеля нужного нет, то пружин, то штуцеров. Все идет через Абрамова, поймать его невозможно. Вера за ним по всему заводу гонялась на высшей скорости, вместе с нашим технологом засады ему устраивали. Подстерегут где-нибудь, накинутся, он от них стрекача, у него тренировка многолетняя. Это просто заслуженный мастер ускользания, никак его не ухватить. Прямо посреди цеха в главном пролете стоит, говорят с ним, и вдруг нет его, словно растворился. Черная магия! Под конец наши приноровились: технолог как поймает, так держит его за пояс от пальто, а Вера суёт свои бумажки на подпись. Какие уж тут темпы!

Геньке про эту волюнку сигналю, с его стороны — непонятное равнодушие. И даже озлился, катись, говорит, со своей Сизовой, у нее есть кому плакаться. Но, между прочим, приходит в цех Шумский, Юрьев и Лосев, расспросили Веру, и Лосев возмутился на Абрамова и обещал принять меры. Но Абрамов хоть бы что, по-прежнему про-

должал бегать зайцем. Получает Вера, к примеру, контроллер, а к нему соленоидов нет, и снова в путь-дорогу. Вера начисто замоталась, потому что, как она сказала мне, для нее это решающая ставка.

Заказ метро полагали пустить на «Ропасе», оснастку заготовили, сообразительство взяли, объявили комсомольское шефство, полный порядок, но время идет, работать нельзя, станок на монтаже, народ начинает волноваться.

Ипполитов тоже нервничает, и дает он распоряжение в ночную смену запустить «Ропас» с отключенной ихней автоматикой, чтобы хоть чего-нибудь наработать.

Не знаю, кто у них там напутал, только шаговой двигатель пшикнул, одна вонь от моторчика осталась. Чего-то, видать, не отключили. Ипполитов наш, известно, барин, ручки марасть не любит, скомандовал сменному, тот — участку, и будь здоров! Моторчик — может, помнишь, — специальный, запасного нет, на Урал за таким ехать надо.

Вера утром приходит, Ипполитов ее у входа ждал. Фасад у него полинялый, и она, конечно, слушает его в ужасе. Губы кривит и отворачивается. Бледная. Он за руку ее держит. Приходит начальство, главный инженер на Ипполитова: «Какое право имели, станок выведен из эксплуатации! Находится в ведении Сизовой! Если что, надо согласовать! Вы поставили под угрозу план и заказ!» Ну, думаем, конец Ипполитову, горит он ясным пламенем, вроде того самого моторчика. Но он тоже парень высокооборотистый. Помнишь, как быстро он в начальство вылез?

И тут выступает вперед Вера и сообщает, что она сама разрешила Ипполитову запустить станок и забыла загрубить какую-то защиту. Все головами качают и перекладываются на Веру. Один Юрьев продолжает докпываться: как же так, не может быть? А она стоит на своем: моя вина, Ипполитов ни при чем.

Ну, тут посыпалось! Лосев потребовал комиссию создать. В многотиражке статья появилась. Метро насадет. Ребята ворчат, потому что если метровский заказ на другие станки рассовать, так тут целая морока: приспособлений нет, всё вручную, расценки аховые. Лосев на совещании речь толкнул в нашу сторону: пятно, дескать, на комсомол ложится и, в частности, на наш цех. Конторщики переживают: если с программой зашьемся, то премия фукнет. Логинов из Москвы, говорят, звонил, потребовал разобратся со всей строгостью. Ну, тут уже и без него на строгость не скупились. Комиссия шурует. Кто виноват? Ясно, Сизова. Вали на нее! Мы тоже жару поддали, озлились на нее, а она еще этаким фертом держится, будто мы не правы. Пробовали ее защищать, в частности Юрьев, но толку нет. Она сама все пути отсекает. Это с ее стороны неблагодарность.

Лосев написал заявление прямо в горком и на Логинова и на Юрьева. Это Генька мне под секретом рассказал. Лосев написал, что Леонид Прокофьевич из личных соображений. Про то, что Логинов пошел против технического совета, на своем хотел настоять, потому что когда еще мастером был, но Лосев его зажал при обсуждении проекта.

Между прочим, тут мы виноваты. Мы с Бурилевым подбивали Леонида Прокофьевича пойти на то обсуждение. Еще писал он, что Логинов не послушал возражений главного механика и начальника цеха и ввел в обман горком, чем сорвал план, и всякое такое, и про Веру. А надо сказать, слухи про нее нехорошие пошли: старое вспомнили, как она тебя выдвигала в деревню послать, в этом интерес ее увидели. А Чудров приходит и сообщает, что у них, в фасонке, толкуют, что Сизова с Ипполитовым стала крутить специально для своих целей, и Геньку она охмурила и приспособила, чтобы он бегал хлопотать за нее. Спасибо, что Геньки дома не было, а то отделал бы он Тихона по первому классу точно. Тут еще приплюсовали всякую всячину. С термообработкой затерло — у них печь досрочно вышла в ремонт. А Лосев все неприятности в одну кучу сплюсовал, а сверху кладет историю с «Ропасом» и преподносит. И кто б, ты думал, подписывается под этой бумагой? Ипполитов!

Пока суд да дело, насчет Веры приказ — отстранить.

Но тут всякие непонятные вещи происходят. Инженеры, что с Верой работали, стоят за нее горой, технолог наш, Колесов, говорит при всех Ипполитову: «Удивляюсь вашему поведению». А тот — «товарищ Сизова спекулировала на техническом прогрессе, занялась авантюрой». А Вера стоит тут же, и смотрит на него, и молчит. Поди разберись в этой женской аппаратуре.

Я Геньке про это рассказал и говорю ему: «Ты был прав насчет Веры, ну ее к чертям со всеми ее фокусами», — так он на меня с кулаками. Просто псих! Я сильно подозреваю, что он влюблен, все влюбленные — психи, иначе невозможно понять такое противоречие в человеке.

После работы забегает он за мной и говорит: «Пойдем». Приводит меня в наш «Голубой Дунай». Там сидит Абрамов. Как Генька сговорил его, не знаю. Взяли мы по стопке, выпили. Старик расклеился. Генька заводит его, и тот давай выкладывать. Лосев, говорит, лучше всего бойтса за свое место, потому что инженер он никудашный, на старшего не потянет, его с «Ропасом» Вера и Логинов прищемили, а впредь еще грозит дальнейшая автоматизация, а он в ней ни бумбум, и вообще ему наплевать на всю эту механику, у него принцип жизни простой: зачем мне это нужно? Но всему как шаблон приставляет: нужно ему это или нет?

Старик разошелся. «Надоело мне, говорит, лосевские подлости смазывать. Мне, говорит, пора о боге думать и станки, говорит, жаль: ведь на износ работаем». Генька его все жмет к «Ропагу», старик насчет «Ропага» тоже выложил. Сыграть Лосев на аварию хочет, обрадовался несчастью и составляет себе авторитет. А надо тебе иметь в виду, что на этом деле Лосев у нас капитал заработал, перед всеми-то выходит, что он знал и предупреждал. Абрамов в грудь себя бьет, чуть не плачет. «Поверьте мне, ребята, говорит, никаких личных соображений у меня к Лосеву нет. Мне обидно, как он заставлял меня тормозить Сизову, и я чувствую, как она, в сущности, из-за меня страдает, что мне теперь делать?» Довели мы его до дому. Генька внушал ему, чтобы Юрьеву все рассказал, но только я боюсь, что в трезвом виде старик не способен на такую инициативу.

На этом я пока кончаю: сейчас поздно уже. Хотел я покороче, но не умею. Такая сложная конфигурация получилась, что зараз не опишешь, а надо тебе знать все подробности, чтобы ты мог принять правильное решение. Завтра я продолжу».

Генька держался весело и деловито, как будто ничего не произошло, как будто он забежал к Вере случайно, показать план месячника по сбору рацпредложений, и как бы между прочим напомнил про сегодняшнее комсомольское собрание в механическом. Ей придется прийти, ничего не подлаешь, будут обсуждать всю эту бодягу.

Он сидел на высоком, круглом табурете за ее чертежным столом. Комната была проходная, люди входили и уходили. Чертежная доска была опущена. Из выдвинутых ящиков Вера доставала бумаги, рвала и бросала в корзину. Движения ее были вялые и безостановочные. Если бы она обиделась или не слушала, он понял бы: человек занят своим горем и знать ничего не хочет. Но она слушала его и согласно кивала, и Геня растерялся.

— Ты что ж это, эвакуируешься? Белый флаг выкинула? — сказал он умышленно грубо. В такого рода положениях он признавал грубую прямому единственному лекарством. Не жалеть, не сочувствовать, лучше разозлить. Так он привык действовать с ребятами.

— Ты киснешь, а Лосев тем временем... Хочешь, я тебе расскажу про этого подлеца?

Вера медленно рвала бумагу.

— Не интересуюсь.

— А твой Ипполитов тебя интересует? Вера, хочешь, я ему морду набью? Ведь он заслужил, а?

— Глупый ты... — Она взяла справочник, вытащила оттуда бумажные ленточки и скомкала их. — Зачем же бить морду начальнику цеха? От этого ничего не изменится.

Рука ее бессильно легла на стол. Тускло блестя никелированные часики. Стрелки показывали восемь. Забыла завести. И Вера была тоже какая-то тусклая, потушенная, как будто в ней самой кончился завод, и говорила она ровно, утешающе.

— Ты на собрание пойдешь? — спросил Геннадий.

— Я знаю, мне надо пойти, но, пожалуй, я не пойду. Трудно очень, ну как я буду смотреть ребятам в глаза? Нужно держаться, а у меня сейчас нет сил. Как ты думаешь, за что они меня так? Я ищу все время какого-то объяснения и не могу найти. — Она размышляла вслух грустно, спокойно, как будто речь шла о ком-то знакомом.

— Тьфу, какая ты размазня стала, вот не ожидал!

Вера задумчиво покачала головой.

— Наверное, Ипполитов был прав. Он умный. Он очень умный человек. Он всегда прав. Послушайся я его, и было бы хорошо. Все шло бы нормально. Ты не злился, Геня. Я вела себя как дура, как девчонка. Теперь я исправлюсь, и все будет хорошо. Помирюсь с Лосевым, признаю свои ошибки, покаюсь. Лишь бы скорее все это кончилось. Скажи Шумскому, что я себя паршиво чувствую. И разбирайте без меня.

— Струсил! Пощады запросила у этих... — Бесноватая злость, и горе, и гнев, и ненависть закружили его. — Эх, ты! А я-то считал тебя... Вера, я понимаю, тебе сейчас худо, но ты не должна быть такой. Это же не твоё личное дело! У тебя же есть друзья!

— Спасибо, Геня, но мне...

— Плевать мне на твоё спасибо! — с бешенством сказал он. — И чего ты прикидываешься? Ты прекрасно знаешь, что и Юрьев тебе верит, и Логинов, и Колесов. И нечего напускать на себя. — Он взял ее за руку. — Вера, ничего не изменилось, даже наоборот. — Во рту у него вдруг пересохло, и голос охрип. — А, черт с ним! Если хочешь знать, так я люблю тебя! — Он передохнул и остановился, зная, что останавливаться нельзя. Вера сидела прямо, на щеках ее остывал тусклый, словно искусственный румянец.

К ним подошел чертежник, положил перед Верой синьки.

— Я все собрал, Вера Николаевна.

— Спасибо, Коля.

— Вам по кузнице надо?

— Нет, спасибо.

«Что это я наделал, — подумал Геня. — Скорее встать и уйти». Но он сидел, чувствуя ее взгляд на своем лице. Кругом ходили люди. Кто-то разворачивал кальку, и она шумно хрустела. Чей-то мужской бас повторял: «Абсолютно несовместимо. Не полезет».

Генька развязно сказал:

— Дело мое гиблое, это как пить дать. — Он умоляюще посмотрел на нее, он все еще на-

деялся, что она придет к нему на помощь, но она молчала. — Ладно, вопрос ясен, — твердо сказал он.

— Почему ты об этом сейчас? — спросила Вера.

— Я давно хотел... вот решился.

— В порядке товарищеской помощи? Думал, я обрадуюсь? Стану благодарить? Нет, Генечка, не нуждаюсь. Ничего мне не нужно. И я не верю никому...

Она вымещала на нем накопленную горечь, наслаждаясь его мучительным стыдом. Пусть она жестока, пусть несправедлива, пусть, а если б он ее сейчас взял за плечи, обнял и при всех поцеловал, — она, никого не стеснясь, заплакала бы, уткнувшись в его крепкое плечо. Ее всегда слишком уважали, чтобы осмелиться сделать такое без ее согласия. Не нужно ей сейчас этого уважения, отнеслись бы сейчас к ней просто как к девчонке, не считаясь с ней, не обращая внимания на ее слова.

И оттого, что Геннадий не осмеливался на это, а любил ее так, как она сама считала положенным, она ненавидела его и казнила словами, взглядом, чем могла.

«Продолжаю тебе, Игорь, как обещал.

Вчера состоялось у нас собрание.

Красный уголок у нас еще на ремонте. Собрались в «Усладе лодырей»: знаешь, закуток между инструментальной и сверлильным?

Вера не явилась, наши давай ее чистить. Вают на нее. Поскольку она не из нашего цеха, то всю вину на нее спихнуть выгодно. Ребятам свой цех, конечно, дороже, и за чужие грехи никто отвечать не хочет.

Попробовал я выступить за ослабление напряженности, так меня живо заткнули. Нашел о ком, говорят, беспокоиться! Она про нас не думала, когда эту свинью нам подложила. Оратор я никакой, между двумя словами перерыв обеденный. Катя мне: «Ты лучше прислушайся, как коллектив воспринимает». А коллектив воспринимает без пощады. Виновата — пусть отвечает. Слухи обратно повторять стали, да еще с припуском, ну, а что я могу? На чужой рот пуговицы не нашьешь. Шумский поддерживает, его задело, что Веры нет. А Генька стоит, слушает, и никакого протеста. Ну, думаю, нашел-таки парень себе какую-то установку в полном согласии с общественной линией, привел к общему знаменателю, и все сошлось.

Выдыхаться уже прения стали, Генька слово берет. Заговорил он как-то не похоже на себя, тяжело. «Эх, вы, говорит, храбрецы, навалились на лежащего, развили активность и героями себя чувствуете». И так он начал стыдить, что всем стало не по себе. А Генька кроет дальше. «Вместо того чтобы обсуждать меру наказания Сизовой,

подумали бы лучше, как помочь заводу». И предлагает устроить комсомольский аврал, перекантывать заказ метро на другие станки и сделать его во внеурочное время, сверх всякого плана. И «Ропаг» тоже отремонтировать своими силами, мотор перемотать, коробку и всякое такое. Тут наши забуксовали. Кому охота за чужое пиво принимать похмелье? Бурилев заявляет, что Генька хочет замазать грех Сизовой. Шумский тоже понял так, что перекалывают вину на комсомольскую организацию. Ипполитов встал и говорит: конечно, от лица администрации помощь комсомола приветствуется, надо будет только посмотреть, как это претворить в жизнь, потому что выступление Рагозина не отражает действительности. Действительность заключается в том, что Рагозин приходил и всячески уговаривал по поводу Сизовой и требовал ее поддержать, и теперь, мол, действия Рагозина Ипполитову ясны. Тут шум, гам: вот, мол, Генька добивается благодарности от своей симпатии и свои личные дела устраивает... Уж на что Генькин авторитет уважали, а тут слушать не хотят, обиделись.

Генька поблел, до чего мне больно стало, вижу, прихлопнули парня, а как оборонять его, не знаю. Ипполитов не врет, но и правды нет в его фактах. Сволочь, а как ухватить его — неизвестно.

Так бы все и погубило, если бы не Юрьев. Откуда он взялся: никто не видел, но вдруг, слышим, подает голос. Стыдно, говорит, не тому, кто любит девушку и защищает ее, а тому, кто бросает любимого человека в беде. И называет Геньку рыцарем. Тут девчата наши ахнули и подключились на полную мощность. И на нас поворот этот произвел полное впечатление. И речь Ипполитова оказалась перед нами в самом некрасивом виде.

Генька вскочил на ящик, рванул на себе куртку да как закричит. В точности как в кино показывают комиссаров гражданской войны. Отыгались на Сизовой, вышли чистенькими, дальше что? — спрашивает. Практически польза какая заказу метро? Никто не даст нам избавления! Всякие есть комсомольцы, есть которые по призыву на целину едут, на Север, ни с чем не считаются, а есть такие, которые лишний час отказываются работать! А числятся рабочим классом. Для меня, говорит, это просто авария — такую молодежь обнаружить на нашем заводе. Что бы, говорит, сказали про них комсомольцы, которые первыми ушли добровольцами в Отечественную войну и составили целый заводской полк? Перед горьком партии срам и позор! И в конце он объявляет: поскольку такое настроение, то заказ этот ребята со второго механического сделают без нас, а мы можем выносить резолюции и катиться домой!

Я не стерпел и спрашиваю: что же, мы не гонимся на настоящее дело? И сообщил, что я лично

остаюсь и буду работать. Тут Катя поддержала: на примере Генки, говорит, видно истинное отношение к женщине, истинная дружба и производственный подъем.

Закругляюсь: никто домой не пошел, и мы вторые сутки шпарим метровский заказ. Ребята из ремонтного подсобляют приводить в порядок «Ропы». Шумский работает, и весь комитет. Весело в цеху, девчата чай варят. Юрьев насчет оснастки конструкторов мобилизовал, иначе бы мы зашлись.

Игорь, пишу я тебе во всех деталях, чтобы ты почувствовал обстановку и принял решение насчет своего автомата. Лосев все на него ссылается. Если прилетишь, тогда ссылаться не на что будет. Иначе что ж выходит — пусть Лосев побеждает? И вообще стыдно мне слышать эти разговоры про тебя. Не могу. Ну, вышла тогда накладная, так с тех пор коренные изменения. Про это письмо я никому ничего, так что посылай по своей инициативе. Не может быть, чтобы ты после всего этого остался инертным и нереактивным.

Строго научно подходить, так модернизация «Ропы» — не выход. При нынешнем уровне механическая обработка отдельными станками есть отсталость. Согласно данным, пора переходить на автоматический цех. Факт, литература имеется. Допустим, я даю задание и ухожу, автоматическая линия дальше сама действует до конца. Вопрос, куда я ухожу и что делаю в остальное время, еще я не додумал в смысле, куда используется освобожденная энергия рабочих. Так что наша модернизация — это временная необходимость и первый шаг, и меня лично она волнует только в связи с несправедливостью. Спешу кончить. Надеюсь, Игорь, что я правильно в тебя верю и никакой ошибки быть не может. А пока остаюсь

твой друг Семен Загода».

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Вода на полях прибывала. Паводок в этом году был необычно высоким, старики не помнили такого. Весна отомкнула все ключи и реки; малые ручьи и те вспухли, заревели, разлились, затопляя низины. Повать, смиренная, тихая речушка, по которой летом с трудом пробирается катер, затопила Коркино. По левобережным улицам плавали на лодках. В воздухе, между небом и землей, натянулись водяные нити. Вода шла отовсюду: сверху, снизу. Про пахоту нечего было и помышлять.

Зато в эмтээсовских мастерских работа кипела. Ремонтировали кузницу, устанавливали стенды, принялись за мойку.

Игорю не терпелось наверстать упущенное время. Подгонять рабочих он не считал себя

вправе. Каждый мог ответить ему: «Ишь когда ты разошелся, чего ж ты раньше отмалчивался и мойку в склад запрятал?» Поэтому, если где затирало, он сам становился к тискам, опиливал угольники, гнул трубы, и это действовало лучше всяких уговоров.

Пришлось переставлять на левую сторону штурвал поворотного стола, все ломали головы над хомутиком для штурвала. Самый остроумный выход нашел Анисимов. Игорь сел с ним, сделал эскиз, кое-что упростил, и Анисимов сказал ему: «Теория, она свое берет». Это звучало как признание. Игорь покраснел от удовольствия. Потом нужно было нарастить вытяжную трубу. Игорь полез по скользкой крыше, чуть не свалился, и был счастлив, что рабочие внизу беспокоились за него и бранили его, когда он спустился.

Вместе со всеми он копал яму под ванную. На глубине они наткнулись на большой деревянный ящик. Стали вытаскивать. Гнилое днище сломалось, посыпались абразивные круги, инструмент.

Анисимов хлопнул себя рукой по лбу. Вот они где, голубчики! Точно, в аккурат сюда и прятали. А он-то запомнил, где только не искал!

Оказалось, то был один из ящиков, которые зарывали перед приходом немцев. Много тогда всякого оборудования позапрытали, а тракторы угнали. Анисимов растроганно поглаживал замшевые корундовые круги и рассказывал, как вместе с покойным директором МТС вели они колонну на восток. К каждому трактору прицепили телегу с бочками горючего, плугами, деталями. Ехали днем и ночью, не останавливаясь. По дороге помогали артиллеристам вытаскивать пушки.

— Растолкуйте мне, братцы, такую деталь. — Анисимов заранее улыбнулся, и его мясистое лицо, покрытое красным зимним загаром, впервые показалось Игорю привлекательным и добрым. — Война, известно, всякие болезни спугнула. К примеру, ревматизм у меня начисто пропал в период военных действий. У Петровых тоже после первой бомбежки язва желудка кончилась. Я эту загадку медицины представляю так, что душа человека забирает немыслимую силу, все внутренности нацелены на дело, и в этой обстановке нету жизни никаким микробам. Но вот почему у машин всякая хвороба кончилась — непонятно. Машина — кусок железа. Какие у ней нервы или чувства могут быть? Так вот поди ж ты, без одной поломки шли, голубчики. Тридцать тракторов, неделю хода, а машины-то старенькие, весною в борозде мы их через день чинили. Это как, по-вашему? Загадка природы?

— Колдовство, — сказал Яльцев. — На войне всякое бывает. А вот после войны, это я сам помню, как соревнование заключали. Бабы на коровах в войну пахали. Коровы были приноровлен-

ные, а наши тракторы не то что в лошадиные, а в две овечьих силы не тянули.

— Да то не тракторы, — засмеялся Ахrameев. — Ты на машину не сваливай. Сам отвык пахать, вот тебя коровы и обгоняли.

Анисимов наклонился к Игорю:

— Пахали медленно, это верно. Впереди идет сапер с миноискателем, сзади ты гудишь. Ферштейн?

Игорь молча кивнул. Он многое дал бы, чтобы иметь возможность рассказать в ответ тоже что-нибудь героическое. Они спасали оборудование, пахали на заминированных полях, а он, чем он рисковал, где его подвиг?.. У каждого должен быть в жизни свой подвиг, и у него мог быть, если бы не струсил, когда его посылали в деревню. Если бы сам вызвался...

Пуск мойки не сопровождался церемониями. Но волнение Игоря передавалось окружающим, и у железного куба собралась вся мастерская.

Малиновые отцветы маленькой топки обегали замасленные до глянца стеганки. От ванной курился едкий дымок еще не отожженного металла. В трубах, переливаясь, бурлила кипящая вода. Внутри мойки загрузили самый грязный из всех блоков. Закрыли дверцы, Игорь в последний раз внимательно осмотрел соединения, кинул взгляд на желтую, еще не захватанную рукоять рубильника. Ему очень хотелось пустить мойку самому. В конце концов он честно заработал это право.

— Ну что ж, — обернулся он к Лене Ченцовой, — включайте!

Она важно обтерла ладонь о ватные штаны, отодвинула плечом Ахrameева и включила рубильник. Взыл мотор, внутри кожуха глухо звенели струн бьющей воды. Лена медленно крутила штурвал и то удивленно сияла, то принимала безразличный вид человека, которому все это не в диковинку. Выпросив у нее штурвал, по очереди крутили, прислушиваясь к пению воды в кожухе. Через двадцать минут блок вынули. Блестящий от воды, теплый чугунок терли пальцами, осматривали, восхищаясь чистотой.

— Серьезная штука, — определил Анисимов. — Ровно в нашей бане.

А Лена Ченцова ликовала больше всех. Можно выбросить противную ветошь и скребки, не нужно больше мучиться, ворочать тяжелый блок, не надо копаться по локоть в грязи, и кожу не будет разъедать ужасный содовый раствор.

— Бабочки, надо бы обмыть мойку, — подмигнул Анисимов. — Спрыснуть, так сказать.

Женщины смеялись: берегитесь, изловим и запихаем туда кого-нибудь из ваших шалопутов.

— Контролировать надо их, Игорь Савельич, — сказал Яльцев. — А то они станут там манатки свои стирать. Они живо приспособят место стиральной машины.

До конца смены, весь день, таскали к мойке что попадалось под руку и, улыбаясь, вертели штурвал и вытаскивали из камеры обмытые, блестящие детали.

Игорь выходил во двор, и там тоже всюду звенела вода и бродили черные, блестящие, словно обмытые в этой огромной весенней мойке грачи.

Он шел к лесопилке, прыгая через лужи, в высоких резиновых сапогах, похожих на ботфорты, в синем лыжном костюме; из кармашка у него торчали логарифмическая линейка и золоченый зажим вечного пера. Он чувствовал себя ловким и сильным, и не было такой лужи, через которую он не сумел бы перемахнуть. За лесопилкой возвышались красные кирпичные стены новой мастерской. Каменщики уже заканчивали кладку оконных проемов, и плотники примеряли желтые оконные переплеты. С прицепов сгружали темно-серые бетонные плиты. Игорь уговаривал прораба передвинуть фундамент для прессы. Прораб крахтел, чесал под мышкой. Он боялся нарушать проект. Но ссориться с начальником мастерских ему тоже не хотелось, и они, пошептавшись, наносили на чертежи им одним понятные знаки — отмеряли рулеткой, хлопали друг друга по рукам, и Игорь возвращался, хитро улыбаясь.

У ворот он окликнул Яльцева и первый заговорил про камнедробилку. Теперь следует приниматься за нее немедленно. Больше никто и ничто им не мешает. Выписывайте гибкий шланг со склада. И тут же вспомнил: надо посмотреть, как на складе поставили новые стеллажи, потом забегать в кузницу (там должны были исправить мотор) и на электростанцию — как там с проводкой к жилым домам. Столбы вкопали, провода натянули, а ввод к щиту не делают. И не забыть: шкив для комбайна выточить без очереди и оформить рацпредложение Анисимову...

Все эти дела, большие и малые, ждали его, зависели от него. С отъездом Писарева он остался полным хозяином и должен был все помнить, всюду успевать. Он вынужден был знать, что делается сейчас на любом участке, чем занят каждый. К нему сходились все нити, от него исходили все окончательные решения, и ему казалось: заболел он сейчас, случись с ним что-нибудь — и все разладится, начнется полный «распотык». А главное заключалось в том, что он уже ничего не боялся: никаких вопросов, никаких осложнений. Нет, не потому, что он все знал. Он, например, еще не успел изучить сельхозмашины, особенно всевозможные уборочные агрегаты. Но потому, что он знал уже столько, что мог спокойно сказать: вот в этом-то я не разбираюсь.

Потешная эта штука — хозяйское чувство. Оказывается, оно дремало в нем давно, со времен детства, когда ему нравилось читать списки

снаряжения, взятого в дорогу Амундсеном, Седовым, перечни имущества, найденного Робинзоном; про всякие доски и скобы, выброшенные на берег; про тайные склады, инструменты узников, готовящихся к побегу.

Дух приобретения и обладания проснулся в нем со дня отъезда Писарева. Какими бы жалкими ни казались эти мастерские, они принадлежали ему, впервые в жизни он получил в полное свое распоряжение большое хозяйство, целый завод. Он подбирал с земли банку с остатками краски. Он сделался скупым и жадным, торговался с бригадами из-за прутка железа и смущенно спрашивал себя: «Что это — чувство ответственности или, может быть, азарт стяжателя?»

В последнем письме Семену он назвал мастерские заводом. Если на то пошло, это даже больше, чем завод, это целый комбинат, где существуют собственная энергетическая база, топливные склады, самостоятельное планирование. Подробностей Игорь избегал: неважно, что в медницком цехе работал один человек, а лесопильный состоял из старенькой циркулярной пилы, а на «энергетической базе» стрелка вольтметра испуганно сникала, как только Ахrameев приближался к сварочному аппарату.

Зато какие машины стояли на площадке, выстроенные ровными шеренгами, — взводы, роты, целые полки новейших машин, празднично блистающих голубым, красным, зеленым! Их простые, мирные названия можно было не принимать в расчет. Все эти картофелесажалки, льнокомбайны, сеялки скорее походили на танки и броневики. Стогометатели грозно вытянули вверх свои стальные пики, ощерились дисковые бороны. Они выглядели воинственно, и в то же время в них чудилась неугомонность тоскующих по работе, любящих работу трудяг. И даже сквозь тонкий, тусклый налет ржавчины на лемехах и ободьях колес сбилась эта нетерпеливая призыв к движению.

Сверху все сыпало и сыпало водяной пылью. «Капает, капает, и откуда он берет что капать?» — вздыхал Петровых.

Невыносимо было смотреть, как новенькие, красивые машины беспомощно мокнут среди грязи. Игорь брал тавотницу и сам ходил, то тут, то там подновляя стекший тавот. Он готов был снять с себя куртку и накрыть ею машины. У него уже не было ни злости, ни обиды, как в первые дни приезда; ему уже не на кого было злиться. Теперь эти машины стали его собственностью, и он страдал и тревожился за них, готовый заслонить их своим телом. Все кругом было его: эти сырые, черные стены мастерских, эти дощатые склады, эти толстые навесы, по которым стучит дождь. Какие ни есть, они принадлежат ему. Их убогая ветхость делала их беззащитными и переполняла его заботливой нежностью. Он казался себе огромным и сильным, способным защитить их.

Сама не понимая почему, Тоня тянула и медлила, никак не определяя срок отъезда. Она перестирала все белье, зачистила, выгладила, пересыпала нафталином зимние вещи, купила полмешка картошки, консервы, масло, соль — словом, приготовила Игоря так, как будто уезжала на несколько месяцев. С чисто женским высокомерием она считала мужчин безнадежно беспомощными и невежественными в любых хозяйственных делах. Никакие технические знания Игоря не могли сломить ее уверенности в том, что, зажигая керосинку, он непременно устроит пожар или взорвет дом. Немедленно после ее отъезда он сделает все для того, чтобы комната заросла грязью, перебьет посуду, перестанет мыться, отрастит бороду, изорвет белье, одичает и начнет есть сырую картошку, запивая подсолнечным маслом. Снова и снова она яростно обметала углы, уже впрок, сдирая с них будущую паутину, надраивала подоконники, видя на них окаменелые остатки будущих завтраков, груды высохших окурков.

Письмо Семена вытолкнуло ее из неопределенности ожидания. Ей не хватало сигнала, повода.

Игорь прочел письмо вслух. Последняя страничка заставила его нахмуриться. Тоня знала этот наивный способ скрывать раскаяние и досаду, обращенные на самого себя. Затем последовало небрежное согласие, произнесенное в адрес Семена, как будто речь шла о чем-то настолько ясном и естественном, что непонятно было, зачем потребовалось такое огромное письмо: все равно чертежи валяются здесь без толку. И тут же он полез в чемодан и вытащил перевязанную бечевой папку.

— Тебе не жалко? — спросила Тоня.

Он распустил бечевку. Перебирал, рассматривал, подолгу держал каждый листок.

— А чего жалеть? — пробурчал он. — Там хоть на пользу пойдет. Единственно выйдет неудобно, если все это мыльный пузырь. Ведь на практике-то не проверил. Тут что? Эскизы! Конечно, своими руками бы изготовить... Ну, да Вера сама разберется.

— Она разберется, еще бы, — угрожающе подтвердила Тоня. — Нет, я не понимаю тебя. Отдать так, за здорово живешь, и кому — Сизовой! Она тебе такую свинью подложила. Она тебе все это подстроила.

Игорь миролюбиво, с потаенным вздохом закрыл папку.

— Что было, то было. Ей и так досталось.

— Мало! Так ей и надо. Не рой яму другому. Нет, нисколько мне ее не жалко. Карьеристка! Лосев правильно тебе говорил.

— Лосев? — пренебрежительно хмыкнул Игорь.

Тоня вспыхнула:

— А что Лосев? Что Лосев? Он один защищал тебя.

У него губы становились все тоньше, образуя упрямую, злую линию.

— ...Ты все забыл. Что плохого тебе Лосев сделал?

— Слыхала, как Семен пишет?

— Подумаешь, Семен! Он под Генькиным влиянием ходит, и вообще, если надо заводу, так пусть администрация тебя попросит. Сама Вера могла написать. И пусть Леонид Прокофьевич тоже.

— Ого! И чтоб еще министр сюда приехал меня упрашивать. Ведь ребята о заводе беспокоятся. За себя они, что ли, хлопочут? Как ты можешь так рассуждать! Я от тебя не ожидал.

— А я от тебя! У тебя характера нет, никакого самолюбия. Поманили пальчиком — и готов.

Взгляд его стал осуждающе-строгим, как будто он уличал ее в чем-то скверном. Возмущенная, она искала самых обидных слов, пытаясь уязвить его как можно сильнее. Он принимал ее нападки непроницаемо-спокойно.

— Ладно, оставим это, а то, чего доброго, разругаемся, — улыбаясь, заключил он, но в голосе его не было примирения. — Ты меня не переубедишь. — Он посмотрел на часы. — Я на собрание.

Он оделся, стоя к ней спиной, и вышел, аккуратно притворив дверь.

Ее взбесило то, что он ушел победителем, оставив за собой последнее слово. Он смел ее презирать! За что? За то, что она заботилась о нем! Она поехала сюда, в эту дыру, пожертвовала всем. И вот награда. Какая-то Вера, какой-то Семен дороже ему, чем она. И это называется любовью. Ради любимой женщины совершают подвиги, идут на все. А он...

Лишенная какого-либо утешения, униженная его твердостью, она стремительно неслась к предельной черте разлада. Ни за что она не заговорит с ним до самого отъезда. Уедет и слова не скажет. У него есть своя работа, друзья, товарищи, а у нее ничего нет. Она одинока, она все отдала ему. Теперь ему, конечно, наплевать. Как он прыгал вокруг нее, узнав, что она согласна ехать в деревню! Куда все это делось? Куда уходит любовь? Куда деваются чувства, слова, уверения? Куда их уносит время? В сущности, считаться с ней он перестал давно, уже тогда, когда согласился замещать Писарева. Чем дальше, тем больше он прирастает к этим мастерским. Автомат — последнее, что как-то связывало его с заводом. Он отдавал сейчас не эту папку — он отдавал их общую надежду, будущее, которое принадлежало им обоим, которое они хранили как резерв и утешались... Удовлетворился своими мастерскими, а о ней, Тоне, и заботы нет.

Она вытащила чемодан, с бесповоротной решимостью принялась укладывать платья, белье, чулки, тетрадки. Взяв полосатую блузочку-без-

рукавку, она призадумалась: уж больно летняя, стоит ли брать. Но тут же вспомнила, что Ипполитову нравилась эта блузочка. «Если вам придется плохо, помните, что у вас есть друг». Это он сказал, прощаясь. Провожая ее с завода, он шел, опустив голову; длинные ресницы его почти касались щеки. Ей хотелось тогда, чтобы он заплакал. Она вздыхала глубоко и горько. На площади они остановились. Он взял ее руку и, разглядывая ладонь, пожелал счастливого пути. Ей стало приятно от его грусти.

— И больше ничего вы не скажете? — спросила она сдавленным голосом.

Ипполитов, не поднимая головы, исподлобья посмотрел ей в глаза, и вот тогда он сказал насчет друга.

— Всякое бывает, Тонечка, — сказал он. — В любом случае вы можете рассчитывать на меня. Кликните меня, и я немедленно явлюсь.

Он усмехнулся, прикрывая влажный блеск глаз. Ей было жаль его, но она нарочно сжала его руку и чуть запрокинула голову, наслаждаясь его горем и всей этой щемящей сердце игрой. Ничего, пусть не ухаживает за замужними женщинами. Себе-то она могла позволить эту игру, уверенная, что замужество гарантировало ее от всякой опасности.

Из письма Семена следовало, что Ипполитов все же бросил Веру. Так у них ничего и не вышло. Тоня довольно усмехнулась: не я, так и не другая. При мысли о том, что Вера получит Игорю папку, Тоня вновь помрачнела. Она делает по-своему, наперекор Игорю, посмотрим, кто кого...

Игорь вернулся поздно. Собрание прошло бурно. Обсуждали заявление Вали Исаева. Он хотел уехать на строительство Куйбышевской ГЭС. Игорь с удовольствием отпустил бы его: отношения у них не налаживались, Исаев по-прежнему досаждал ему своими ехидными замечаниями, громко высмеивая малейшую оплошность Игоря. В сущности, это был последний, самый упорный враг Игоря, и отделаться от него было весьма заманчиво. Причина у Исаева самая благородная: желает строить величайшую гидростанцию. У него аж глаза разгорелись, когда начал рассказывать про Куйбышевскую. Его брат там машинистом на экскаваторе работал. Валька принес с собой письма брата — такой агитационный материал, дальше некуда. Волга, Жигули, Степан Разин, а главное — немыслимая техника. В один минский самосвал все мастерские можно запихнуть. Бетонные заводы автоматические. Подвесная дорога через Волгу. Миллионы кубометров. Стройка всему миру на удивление. Центр жизни.

Ребята, вместо того чтобы воздействовать на Вальку, слушали разинув рты. Ахrameев нервни-

чал. Он собрал ребят с целью переубедить Исаева, получалось же наоборот. Чего доброго, этот Исаев и других сманит, да еще перед самой посевной. Сладить с Валькой было не просто. Ахrameев начинал про внимание сельскому хозяйству. Валька в ответ — про всенародную стройку. Доспорились до глупостей: что важнее — Куйбышевская ГЭС или механизация полевых работ? Ахrameев толкнул под столом Игоря, зашептал:

— Выступи. Скажи, как ты откликнулся, как поехал. А то что же получится — встречные перевозки? Авторитетно перетянуть надо его агитацию.

Игорь отказался: на кой ему упрашивать Исаева, пусть катится на все четыре стороны. Хотя и высокий разряд у парня, но лично Игорю одни неприятности. Да разве Ахrameева переспоришь? Сверкнул своими угольными глазами и объявил:

— Слово имеет товарищ Малютин.

Игорь встал. Видно, дело поворачивается все-ррез, и тут не до личных обид. Если уж мериться, так выбирать надо, где ты, Исаев, сейчас нужнее. Кто в самое страдное время ремонт топливных насосов обеспечит? Кто — Черчилль тебе будет ремонтировать? Что у нас тут, шарашка какая-нибудь? Как вы считаете — Чернышева с такой большой работы сорвали и сюда, к нам, направили, это как, зря?

Он повысил голос.

— Я тоже на заводе не в носу ковырял. Нас, выходит, сюда, а вы отсюда? Чем ты, Исаев, лучше тех баб, что на базар едут, когда городские у них в поле работают?

— Что вы сравниваете, — закричал Валька, — что я, шкурник, что ли?

— Эти бабы тоже козыряют — мы, дескать, колхозную торговлю поднимаем.

— Вас небось никто не держал, вы вызвались и поехали, — наставлял Валька. — Чего же вы другим мешаєте патриотизм проявлять?

Игорь вспыхнул, залился жаркой краской (сколько раз он проклинал свою позорную, мальчишескую манеру краснеть!). Он как-то свылся с тем, что здесь все считают его добровольцем, вызвавшимся ехать по своей охоте...

— К сожалению, не так все это было. Я не доброволец. Отказывался я ехать. — Чувствуя общее недоумение, он поднял голову (ну что ж, когда-то должна была наступить эта минута расплаты) и сказал громко: — Я поехал в порядке комсомольской дисциплины. Подчинился. — В те дни он ставил это себе в заслугу. Сейчас он вдруг испытал стыд. И все, что он рассказывал, обернулось стыдом.

Он вспомнил письмо Семена и ясно представил себе, как Генька там, в цехе, держал речь перед ребятами. Впервые со дня приезда он думал о Геньке тепло, с прежним восхищением; существовала не объяснимая словами связь между тем со-

бранием на заводе и вот этим. Геньке было не легко, и он, Игорь, тоже не станет легчить.

Откровенность его вызвала короткое замешательство. Костя Силантьев простодушно удивился:

— А мы думали, вы своей охотой...

Но вслед за минутным разочарованием Игорь уловил какое-то новое, уважительное и раздумчивое сочувствие ребят. Он чего-то лишился и что-то приобрел и никак не мог разобраться, хорошо это или плохо.

Лена Ченцова накинута на Исаева. Видите ли, за шкурника обиделся. Шкурник не шкурник, а в овечью шкуру рядишься. Потому что на самом деле гонишься за красивой жизнью... Он, Исаев, видите ли, особенный. Лена, может, тоже не прочь махнуть на настоящий завод. Там тоже интересно. Выходит, закрывай мастерские, вали кто куда. Малютину тоже не было интереса к нам ехать. Слыхали? Комната у него была и все прочее. А послали — и подчинился. В силу сознательности и долга.

— У нас тут труднее, — сказала она. — Поэтому ты и бежишь. У нас, понятно, не Куйбышевская ГЭС, к нам фотографии с журналов не ездят.

— И природы такой нет, — вздохнул Силантьев, — и Степан Разин не жила тут.

И вдруг с каким-то сердитым удовлетворением они принялись перечислять, чего у них нет по сравнению с Куйбышевской ГЭС: клубов таких нет, и снабжение промтоварами хуже, и в «Правде» про Коркино писали последний раз пять лет назад, и коттеджей не строят, и зарплаток таких нет, и район отстающий... По мере того как рос список этих бед и недостатков, происходило, по выражению Ахrameева, полное превращение матери, и Валька Исаев из героя становился дезертиром.

Переубедить Вальку до конца не удалось, он обещал подумать, но теперь уже не имело значения, уедет он или останется. Важно, что ребята другими глазами посмотрели на здешнюю свою жизнь... Кончилось все смехом. У Кости Силантьева лисенок убежал из корзины, девчонки закричали, лисенок вцепился с перепугу Вальке в спину, тот не разобрался, в чем дело, напугался, орет благим матом.

— После собрания Исаев подошел ко мне, — рассказывал Игорь Тоне, — и сказал: «А я думал, вы довольны будете, что я уезжаю». Что я мог ему ответить? Тут осторожно надо. Может, с парнем перестройка происходит.

— Да, конечно, — охотно подтвердила Тоня и, сделав усилие над собой, показала на папку: — Ты твердо решил с этим?

Он упрямо кивнул.

— Тогда я завтра поеду в Ленинград и захвачу.

— Завтра? Ой, неохота! — Он жалобно сморщился, и у Тони сразу потеплело в груди.

— Все равно надо ехать, днем раньше, днем позже — какая разница!

— Трудно мне будет без тебя. Посевная начнется.

— А я зачем тебе? Ты будешь сутками пропадать на своих станах.

— Но мне было бы кому позвонить оттуда. И приехать ночью, разбудить...

— Для меня это, конечно, здорово интересное занятие.

— Не смейся. Мне почему-то очень не хочется тебя отпускать, особенно завтра.

— Почему?

— Не знаю.

— Я бы могла задержаться дня на два... но ведь надо передать твою папку.

— Мы ее отправим почтой.

— Нет, нет, я должна отдать сама, чтобы не было никаких недоразумений.

Он долго, задумчиво смотрел на нее.

— Я понимаю, Тоня... но я не могу задержаться...

Она засмеялась, зажала ему рот.

— Ты понимаешь, и я понимаю, мы оба понимаем, и не нужно, — она продолжала улыбаться, — все будет хорошо.

Сколько раз за это время ей приходилось сдерживать себя, так что еще один последний разок ничего не стоит. Больше она не огорчалась его настойчивостью. Ей надо уехать, она устала, ей хочется побыть одной, немного отдохнуть, не утешать, не готовить еду, не ждать, не прикидываться веселой — она очень устала.

Он уселся писать письмо Семену.

Лежа в постели, Тоня разглядывала его склоненное лицо. Под мягким светом керосиновой лампы зимний загар казался еще краснее. Время от времени Игорь касался кончиком ручки подбородка. Он придвинул к себе папку и осторожно погладил корешок. Обтрепанный воротничок рубашки углом стоял над его загорелой шеей. «Забыла подшить», — подумала Тоня. Ей стало совестно за свое лукавство и за недавние мысли об Ипполитове. Теперь, когда все было решено, ей захотелось тихонько встать, подкрасться к Игорю, поцеловать в шею и шепнуть что-нибудь, но тут же, как это случалось с ней последнее время, она на расстоянии ощутила устойчивый тошнотосладкий запах солонки, который прочно пропитывал его одежду, даже кожу, уничтожив родной запах его тела. Она натянула одеяло, закрывая нос. Лучше подождать, пока Игорь ляжет. А в наказание за свои скверные мысли она не будет спать, и когда он ляжет и положит голову ей на плечо... Дождь лениво топтался на крыше. В Ленинграде она никогда не слыхала, как дождь стучит по крыше...

Она уснула, так и не услышав, как он лег.

— Сегодня уезжаете?

Надежда Осиповна стояла в дверях, смотрела, как Тоня, нажав коленкой крышку, закрывала чемодан.

— Да, пора экзамены сдавать.

— И надолго?

— Что надолго? — сухо спросила Тоня, почувствовав в голосе Надежды Осиповны насмешливый укол.

— Покидаете нас надолго ль?

Тоня чуть не ответила: «А вам-то какая забота?» Но удержалась, ради Игоря удержалась.

— Нет, ненадолго.

Надежда Осиповна присела на стул, понимая, усмехнулась.

— Я это к тому, если ненадолго, просить буду: купите мне в Питере фланельки покрасивей на халат.

— Пожалуйста.

— Деньги я вам принесу.

— Не стоит, у меня есть.

— А то, может, в тягость? — протянула Надежда Осиповна. — Чемодан-то, я гляжу, битком набит, и сунуть некуда будет.

Удар пришелся точно. Тоня от негодования разом придавила крышку, щелкнула замками, выпрямилась.

— Не беспокойтесь, вам больше трех не надо. Вы ведь коротенький шьете.

— Нет, ниже колен, — усмешливо сказала Надежда Осиповна.

Она сидела, закинув ногу на ногу, на плечах накинута цигейка, кофточка туго натянута на груди. Она любила ходить без лифчика, и Тоня это всегда почему-то корбило. Надежда Осиповна поболтала ногой.

— Только смотрите, не задерживайтесь.

Тоня отряхнула платье, подбоченилась, принимая вызов.

— Иначе?

— Игорь Савельич скучать станет.

— Шибко вы заботитесь о нем.

Надежда Осиповна длинно засмеялась. Зрачки ее зеленых глаз по-кошачьи сузились.

— Это я о вас, Тонечка. Жена в отъезде — муж в гостях.

— И на здоровье, — холодно улыбнулась Тоня. — Он у меня совсем бирюком стал. Кстати, я хочу Писаревых навестить. Может, что передать от вас?

Надежда Осиповна тоже улыбнулась. Притворно улыбаясь, они смотрели друг на друга, потом Надежда Осиповна тряхнула головой и засмеялась по-новому, с горечью.

— Эх, Тонечка, птенчик вы махонький, разве вам меня укусы! Я и так вся обкусанная. Писаревым стыдите. А мне и не стыдно. Где любовь, там стыда нет. Захотела бы, и обневолила его. Ведь он ровно теленочек. И жену его не пожалела бы, не стоит она того. Чего-чего, а, как говорится,

присушить я еще могу. Разлучница, да? А как, по-вашему, — право на свое счастье я имею? А вот сама, своими руками отдала, — она недоуменно осмотрела свои раздвинутые пальцы, — хоть и маленькое, поношенное, а счастье. Кланялась, упрашивала отпустить его. Вот где вопросительный знак надо ставить.

Она встала, потянулась, плотно зажмурила глаза.

— Счастливого пути вам, Тонечка! Мне четыре метра, не забудьте.

Тоня закрыла за ней дверь, подошла к зеркалу, долго смотрела на себя. Нет, и это не может остановить ее. Никакой тревоги за Игоря, ничего.

Мотоцикл словно расстреливал вечерний покой пулеметной трелью.

Чемодан подпрыгивал в коляске. Тоня сидела позади Игоря. Воздух свежими ладонями закрыл уши, прижимался к щекам. Вспыхивали и проносились лунные лужицы на асфальте. Игорь, сжимая руль, вглядывался в мглистую даль шоссе. Горячее дыхание Тони щекотало ему шею. При толчках ее плечи, грудь касались его спины. На повороте она схватилась за него руками. «Останься так», — мысленно попросил он. Она осталась.

У них бывали такие моменты, когда они слышали мысли друг друга. Он был в ней, она в нем. Перед ее глазами подпрыгивал склоненный затылок Игоря с пушистой ложбинкой. Что-то укоряюще-робкое было в этом наклоне. «Нет, не надо, я сдам экзамены, нагоню и снова буду с тобой, каждый день», — мысленно утешала она его. Она чувствовала тоску его предстоящего одиноче-

ства, его тревогу перед набегавшей на них разлукой, и ей становилось жаль его. Возбужденная радость отъезда делала ее великодушной, она все прощала — свои раздражения, обиды. Ведь это их первая разлука. Ведь у него тоже нет никого, кроме нее. Касаясь губами его уха, она шептала ему, он кричал что-то в ответ, но ветер рвал его слова. Она слегка куснула его ухо.

Тормоза заскрежетали, машину занесло, он обернулся, пригнул ее голову к себе.

Тишина сразу надвинулась на них, затопила их зеленым лунным светом. На земле ни огонька, зато на небе перемигивались звезды, дымы облаков наплывали на прозрачно-желтую луну.

Они стояли посреди шоссе, на широкой и теплой ладони земли.

— Мне так не хочется отпускать тебя! — Подавленная тревога пронизывала его голос.

Она успокаивающе сжала его руку.

В дорожных кюветах урчали лягушки, сперва тихо, потом громче и громче. Ветер стучал ветками вербы, нес запах березового сока, где-то в темноте лопались почки берез, и Тоне казалось, что она слышит, как, потрескивая, распрямляются зеленые ушки первых клейких листков.

— Смотри, какие горы на луне, — сказала Тоня. — Вот бы полазить!

— Пылища там.

— Потому, что там никто не живет.

Он притянул ее к себе, поцеловал, и тогда она почувствовала, что лицо ее мокро от слез. И он тоже почувствовал это. Они оба испугались этих слез и невесты откуда нахлынувшего предчувствия. Они крепче прижимались друг к другу, заглядывали в глаза — нет, не может быть, им просто показалось.

и жмыхах, хлеба, с которым отстанвали город и который не соглашались променять на суленные врагом калачи.

Еще не были забыты послевоенные хлебные карточки, талоны на пшеничную кашу в заводской столовой.

Еще оставались районные городки, где тянулись очереди за хлебом, где иногда месяцами не продавали ни сахара, ни масла. Еще с мешками и чемоданами рыскали из Ленинграда в район спекулянты, но люди чувствовали: это на исходе, это отступает в историю, туда, где были блокадный хлеб и карточки...

Вслед за шумными эшелонами добровольцев, уехавших на Алтай и в Казахстан, двинулись составы с техникой. На открытых платформах шли, сверкая краской, новые мощные тракторы, комбайны, грузовики, шли вагоны с удобрением, запчастями, цистерны горючего, кирпичи, радиоузы, кровельное железо, ватники; не было, наверное, завода, фабрики, которые не работали бы в те дни для деревни. Приятели писали Чернышеву: «Батрачим на тебя... взяли тему исследовать допустимые износы некоторых узлов трактора. Тема любопытная, девственная, — видно, никто ваше хозяйство всерьез не изучал». В КВ, где работал Писарев, опробовали восстановление тракторных деталей методом металлизации. На кафедре в институте, где училась дочка Чернышевых, занимались искусственным микроклиматом для льна. Химики создавали новые удобрения, электрики — полевые электростанции; каждый стремился дать деревне свое, все, что имел, что мог; битва разразилась, волнуя миллионы сердец, ибо каждый ел хлеб и каждый все яснее понимал, что значило это сражение в жизни народа.

На Октябрьском на цеховых собраниях обсуждали дела подшефного колхоза; правдами и неправдами выкраивали материалы для строительства телятника, водопровода. Катя писала Тоне: «Послали строить подшефникам силосную яму. Я бригадир. Стала специалистом и в вопросах силосования играю первую скрипку».

Становилось ясно, что делать и как делать. В самых нищих, запущенных колхозах росла уверенность в благодетельном переломе: наконец-то удастся встать на ноги.

Секретари обкомов, райкомов сидели за счетами, вникая в цифры, сравнивали, анализировали, считали каждый рубль, подсчитывали литры, гектары, центнеры. Эта конкретность нового стиля передавалась председателям, бригадирам; учились на ходу, учились квадратно-гнездовой посадке, осваивали новые льнокомбайны, налаживали учет; все перестраивалось, менялось, взбудораженное радостью предстоящих побед.

Зеленое знамя весны двигалось к северу под неумолчный гул машин; колонны тракторов обнажали черное плодородие целины, полное неистраченных, накопленных веками сил.

Газетные сводки, радио, нетерпеливые звонки из области доносили в Коркинский район раскаты весенней битвы, бушующей в стране. Где-то уже подходила к концу многолюдная горячка сева, а Коркино весна словно обходила стороной. Вода почти не убывала с полей, стойко поблескивала узкими, холодными полосками в бороздах.

Утром, чуть свет, Игорь уезжал вместе с Чернышевым. Сквозь рваные прорехи облаков проглядывало прохладное солнце. Серый от грязи вездеход медленно переваливался через залитые желтой водой колдобины. Останавливались, завидев вдали трактор. Поля были безлюдными и тихими. Тракторы стояли. Легкая, свежая рябчина покрывала гусеницы. Там, где пробовали пахать, машины быстро вязли. Они не могли протащить самую легкую борону, они вязли, даже не имея ничего на прицепе.

Чернышев с бригадиром, агрономом шагали из конца в конец раскисшей пашни, с трудом вытаскивая ноги из хлюпающего месива, поднимались на взгорки, щупали, мяли в руках мокрую, холодную землю, отыскивая места посуше, хотя бы маленький клинышек, шматочек. Возвращались в МТС к ночи. В диспетчерской висел график на желтой миллиметровке, вычерченный еще Тоней. День за днем кривая сева бессильно ползла по низу. Область слала телефонограммы, предупреждала, требовала, в каждой бригаде дежали и почевали уполномоченные, но тракторы вязли. Чернышев снова и снова бросал их на штурм этой неподатливой земли, они самоотверженно шли, мощные дизели ревели, захлебывались и бесильно смолкали, побежденные водой. Обрывались клапаны, плавилась подшипники, ломались передачи. Трактористы отказывались выполнять распоряжения, иные умышленно осторожно загоняли машину в бучила, лишь бы спастись от настоящих аварий, вязли, доказывая, что пахать нельзя. Работы не было, пропадал заработок, угроза сорвать сроки посевной росла с каждым часом. По полям бродили колхозники, трактористы, областное и районное начальство, вздыхали, ругались, смотрели на дождливое небо; встречаясь, утешали друг друга, пряча бессильный гнев. Люди были готовы сами тащить плуги, сеялки, бороны. Надежда Осиповна металась по колхозам верхом на буланом жеребчике, исхудалая, почерневшая. Простуженным голосом кричала на бригадиров, требуя прокапывать канавы хоть на заступ, восстановить дренажную систему кое-как, лишь бы скорее спустить воду с полей, подсушить почву.

За выгоном у Покровской трактор засел в пашне так глубоко, что верхние гусеницы затакнуло. Пока вызывали подмогу, Игорь вместе

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Весна этого года стала решающей в начатой великой битве за хлеб.

В поездках, сельсоветах, за кулисами театров, в воинских частях страстно обсуждали виды на урожай, уменьшение налогов, постановления ЦК, цифры надоя. «Земля», «хлеб» — древние эти слова вдруг приблизились к каждому человеку, обновленные до самой своей первозданной сущности.

Когда-то на Руси слово «хлеб» означало все заботы человека о продовольствии, а выражение «отнять хлеб» значило лишить человека всего: места, промысла, средств существования; и сейчас емкое слово это вбирало в себя и целину, и тру-

додень, и спор агротехников, и семена, и лен — все, что люди давали земле, и все, что она могла дать им.

Хлеб наш насущный — его и брали иначе, бережно, задумчиво взвешивая в руке ноздреватый, пахучий ломоть, почувствовав вдруг, что значит в жизни народа, страны, этот первый и главный дар земли. Воспитанное поколениями русских хлебопашцев, оживало, как еще никогда, священное отношение к хлебу-батюшке, кормильцу, началу всех начал, с которым всегда были связаны мечты народа, его горе и радость, богатство и сила.

Память людская хранила еще вкус голодного, stodвадцатипятиграммового кусочка блокадного ленинградского хлеба, замешенного на целлюлозе

с Чернышевым помогал откапывать машину. Подъехал на телеге председатель колхоза Малинин.

— Умные у вас тракторы, — усмехнулся он. — Защищают колхозную пользу. Ждать надо. Разве можно такую землю работать?

— С вас спрос еще больше будет, чем с нас, — сказал ему Чернышев. — Напрасно вы благодушествуете.

Малинин рассмеялся, подмигнул Игорю.

— А мне что? Я на технику сошлюсь. Техника, скажу, подвела.

Но тут же, скинув тужурку, отобрал у Чернышева лопату и принялся копать мелкими, быстрыми взмахами, далеко отбрасывая тяжелые комья сырой земли.

Бригадир подогнал «ДТ», и начали тянуть трактор. Трос лопался, его сращивали и снова тянули.

— Я же говорил, что завязнем. Вот так и работаем, — жаловался бригадир Чернышеву, — сперва завязнем, потом тащим. Конечно, — спохватился он, — такой тенденции нет, чтобы специально вязнуть.

Вытащили под вечер, у «ДТ» порвало салыники.

— Так мы все машины загубим, — сказал Игорь Чернышеву.

Чернышев промолчал.

В Кривицах на полевом стане они увидели трактор с поломанной звездочкой. Это был первый трактор, который Игорь ремонтировал, приняв мастерскую. Своими руками он ставил эту звездочку, подбирал каждую деталь, и вот сейчас этот трактор, не успев наработать и десятка гектаров, стоял распотрошенный, прозрачные струи свежего масла стекали из втулок. А кабина еще пахла краской, и брезент на сиденье был еще чист.

— Потому что за цифрой гонимся! — ругался младший Силантьев. — Требовали качества, а сами... Хоть душа вон, хоть болотину паши, лишь бы цифру добыть.

А чистое масло лилось и лилось на прошлогоднюю вытоптанную стерню. Игорь молча подставил колпак под тягучую янтарную нить.

Чернышев отвернулся, долго смотрел на поле, потом сказал:

— Тут на мотоботе впору работать.

Он пытался шутить, подбадривал, но Игоря его неизменное застылое спокойствие удивляло. Оно не заражало, оно давило. Аварии заставляли Чернышева действовать осторожнее, но не останавливали его, он маневрировал мощными «ДТ», перебрасывал их туда, где появлялось хотя бы несколько гектаров сухой земли, придумывал всевозможные приспособления. За ним, как за моторным катером, вскипала пенная волна дел, начинали тарыхтеть тракторы, на поле появлялись люди, все вроде приходило в движение и быстро

сходило на нет так же, как быстро гаснет, разбегаясь, волна, поднятая винтом.

Когда они покидали полевой стан, начался дождь. Он с нудной аккуратностью начинался точно к вечеру, мелкий, холодный, и сыпал всю ночь до утра.

Подойдя к дорожной канаве, Чернышев тщательно обмыл сапоги. Он делал это всякий раз, садясь в машину. Стиснув зубы, Игорь смотрел, как он болтает ногой в канаве и обтирает голенища пучком травы. В его неутомимой методичности было что-то раздражающе-унылое, похожее на этот томительный дождь.

— Безобразие! — вдруг выпалил Игорь. — Калечим машины. Такие машины!

Чернышев принужденно усмехнулся:

— Не в машинах дело.

— А в чем же?

— В людях, в хлебе. Машины сохранить — просто.

— Нет, я не могу так, — сказал Игорь, — не могу я этого видеть. Надо подождать. Мы действуем варварски!

— Приходится на весы класть свой меч, — кривя губы, начал Чернышев, и вдруг, сильно взяв Игоря за плечо, сказал, необычно волнуясь: — Ждать, а сколько ждать? Неделю? Вы ручаетесь за неделю? А может, месяц? Тогда как? Тогда вообще не к чему будет сеять... — тяжело дыша, он отпустил Игоря, долго смотрел в желтую, взбаламученную воду, потом сказал, стараясь вернуться к своему обычному тону: — Помните, как у Островского: «Пити вмерти и не пити вмерти, так все лучше пити и вмерти». Понимаете, что нам грозит, если мы агросроки пропустим? Нет, мы не можем себе позволить... — Он остановился, встретив упрямый, непримиримый взгляд Игоря. — Надо не хныкать о потерях, а искать, как справиться с бедой.

— Я не хнычу, — сказал Игорь. — Я протестую!

Слово это показалось ему выпревшим, глупым, он чувствовал, что краснеет, но продолжал смотреть Чернышеву в глаза.

— Игорь Савельевич, пусть каждый занимается своим делом.

Игоря поразило не столько убийственный, обидный смысл сказанного, сколько грубо резкий тон Чернышева.

— Разрешите мне остаться здесь, присмотреть за ремонтом, — твердо сказал Игорь.

Чернышев стряхнул воду с полей шляпы.

— Пожалуйста. Будьте добры проверить чтобы по окончании ремонта машину направили к Лискиной роще и начали выборочную пахоту.

И пока Игорь провожал его до машины, Чернышев ровным, холодным тоном приказывал ему проследить за выходом машин саютовской бригады, попробовать привязать к гусеницам ваги, чтобы уменьшить удельное давление и под-

готовить участок за овчарником к севу под пшеницу.

Капли дождя слезились на выпуклых стеклах его очков, и странно было видеть под ними острые, сухие, немигающие глаза в суровом обводе морщин.

— К черту, к черту! — твердил Игорь, шагая в деревню.

Провались тут все, он и пальцем не шевельнет. Ломайте, калечьте машины, больше он слова не скажет. «Пусть каждый занимается своим делом»? Пожалуйста, ради бога, ему еще легче будет ремонтировать, велика ль забота! Тоня права: нечего вязываться и спорить. Не сгоняй шуку с яиц. Сиди в своих мастерских, худо ли тебе там?

Отсюда мастерские представлялись ему самым спокойным и уютным местом на свете. Там сейчас остались только постоянные рабочие, он вернется, примется за электропроводку, надо укомплектовать летучки инструментом, подготовить запасные узлы. Не до чужой печали. Глаза закроет, уши заткнет и знать больше ничего не будет.

У моста машина остановилась, шофер спустился к речке за водой. Чернышев вылез, прошелся, пытаюсь согреться. Его знобило. Ветер, насыщенный холодной мокротью, бил по лицу. Костюм, белье — все было влажным, липкая сырость, казалось, проникала сквозь кожу. Чернышев поднял голову. Долго сдерживаемый гнев вдруг прорвался. Всегда бесстрастное лицо его исказилось. В бессильной ярости он проклинал и ненавидел это беспросветное, угрюмое небо, бессмысленно-враждебное, древнее и недоступное. Он ненавидел его люто, насмерть, как только человек может ненавидеть человека.

Всю зиму Чернышев готовился к этой весне, своей первой весне; для нее он пестовал каждую машину, учил людей и учился сам, воевал с Кисловым; продумывал с председателями колхозов, с бригадами любые мелочи. Казалось бы, все предусмотрел, обеспечил — и вот... все летело под откос, шло насмарку, и некого было винить: ни себя, ни окружающих. Производственный, привыкший управлять техникой, подчиненной ясным, известным ему законам и формулам, он тут столкнулся с необузданной, неподвластной ему силой. Смеясь над его усилиями, над усилиями тысяч людей, она грубо путала все расчеты. И он вынужден был молча взирать на это крушение, он, который имел в своем распоряжении любые механизмы, машины, приспособления, наконец знания.

Это было дико, это никак не укладывалось в его мозгу. Там, в Ленинграде, на своем комбинате, он не знал, что значит зависеть от солища, от погоды, от дождя. Они не могли помешать ему вы-

полнять план. Попробовал бы он сослаться на дожди! И здесь он не желал зависеть от этого неба; эта зависимость была унижительна, противна всему его трезвому инженерному складу мыслей. Придет день, когда проклятая стихия будет у нас в руках, небо будет делать то, что нам нужно, оно не посмеет шевельнуться без разрешения, мы будем гонять тучи куда захотим. Даже капля дождя не упадет без нашего ведома.

Но и сейчас Чернышев не собирался мириться с непогодой. Мириться — значит признать себя побежденным. Он шел упорно наперекор, свирепая и распаляясь от неудач.

В каждом колхозе ему твердили — надо подождать. Он отвергал все доводы, полный подозрительности и недоверия. На днях ему позвонили из обкома: «Как у вас с севом? Не подведете?» Этот вопрос расстроил его больше, чем ежедневные нагоняи разных начальников управления. Он вспомнил, как по приезде из Ленинграда он просил послать его в самый трудный район. Неужели он не справится? Неужели поддастся, пойдет на поводу... (Он чуть было не добавил «...на поводу сырых настроений». Сентенции типа кисловских — «сырые настроения» или «отвечать-то буду я» — все чаще вертелись у него на языке.)

И Малютину он тоже перестал верить. Этого мальчишку больше всего заботят тракторы... Играет на руку Малинину. «На технику сошлемся». Они-то сошлются. А ему на что сослаться?

Остановился Игорь у бригадира Игнатьева, того самого, с которым познакомил его Пальчиков в вокзальном буфете. Игнатьев жил вместе с младшей дочерью, Марией. Над комодом висел портрет старшего сына в летной форме, в шлеме — бровастый, широколицый, как отец. Там же, рядом, висела пожелтевшая фотография молодого парня с лихо закрученными усами, в картузе, в кожанке. Стоял он рядом со знаменем, на котором было написано: «Смерть мировому капитализму!» Игорь принял его за самого Игнатьева в молодости, но оказалось — это брат Алексея Игнатьева, знаменитый на всю губернию партизанский командир Федор Игнатьев. В те годы — тысяча девятьсот семнадцатый и восемнадцатый — Кривицы, Любицы, Покровское, Ногово были центрами партизанских отрядов. Отсюда везли хлеб питерским рабочим, отсюда делали вылазки на железную дорогу, громили немецкие эшелоны. А когда кончилась гражданская война, этот самый Федор Игнатьев на первой губернской конференции сказал: «Мы кто? Мы — льноводы. Мы теперь винтовку в сторону отложили и беремся за лен. Что мы, крестьяне, можем обещать советской власти? А мы обещаем ей такие льны растить, чтобы из них сделать веревку, на которой можно было бы повесить всех врагов мирового пролетариата. Чтобы выдержала!»

Газетная вырезка с этой его речью хранилась в альбоме рядом с последней фотографией Федора Игнатьева, убитого в 1925 году кулаками.

Бедность была в Кривицах до революции неслыханная.

Ребята молодые, на гулянье или на праздник престольный идти, — брали у хозяина напрокат сапоги, пиджак, за это потом отрабатывали. Шесть человек грамотных было на всю деревню. Хлеба своего к весне не хватало, прибавляли сосновую кору — мезгу. Срезали ее ножом, получалась лента сладковатая, пахнущая смолой, сушили на противнях, толкли в деревянных чашках и досыпали в муку. Недаром присказку сочинили: «Лежит деревенька на горке, а в ней хлеба ни корки». Вот и прозвали волость Коркино.

— Снетки также выручали, — вспоминал Алексей Петрович. — Ну, известно, горох, репа. Вот вам и вся раскладка. Отец покойный приваживал нас с Федором то к бондарному делу, то на гончара учил. По осени я в Питер горшки возил, на барках ходили. Придем, на Фонтанке станем, на набережной расставим товары свои. Да только ничего не получилось у нас. Не крестьянское это дело — торговать. Так и не наловчились мы. А перекупщику отдавать — один убыток. Когда колхоз у нас организовали в 1932 году, бросил я все эти промыслы: стосковался по земле. До войны колхоз у нас богатый был, миллионер.

— И после войны тоже миллионер, — вставила Мария, — считай, полтора миллиона долгов государству.

Она была похожа на отца — широколицая, брови густые, толстые. На Игоря она поглядывала исподлобья.

— Слыхать, ваш директор участок льняной отобрать под пшеницу хочет? — спросила она.

— Неизвестно еще, — хмуро уклонился Игорь.

— Чего уж там, поди порешили!

— Мария, ты бы нам самоварчик поставила, — дипломатично сказал Алексей Петрович.

Мария вышла в сени, сердито хлопнув дверью.

— Звеневая она по льну. В Федора пошла. Привязанность у ней к этой культуре большая.

С утра Игорь ходил с Игнатьевым по полям. Алексей Петрович взял с собой лопату и по дороге то и дело подправлял канавы, окапывал, стогнял воду; работал он на ходу, легко и незаметно, словно то был не заступ, а тросточка, которой помахивают, гуляя, деревенские парни. Он знал наклон на каждом участке, у него были заметины, мерки в ямках, по которым следил, как убывает вода.

Было множество своих, накопленных поколениями примет: ласточки прилетели — скоро гром загремит; головастиков много в лужах — к урожаю; ежик прошуршал — заморозкам не бывать; весна поздняя и вода спорая не обманывают.

Коренному горожанину Игорю все было в диковинку, он учился видеть, примечать игру закатных красок в кипении облаков, крик прыгающих по кустам синиц, крохотные норки рыжеватых полёвок.

Вдоль проселка молоденькие, общипанные коврами сосенки тянулись вверх светло-серыми восковыми свечками свежих побегов. Вода в канавах была припудрена ярко-желтой пылью с цветущих елей.

Алексей Петрович, молчаливый и резкий на людях, в поле светлел, становился даже хвастливым, словно показывал Игорю свое имущество.

Доходили они до Стрижевки. Маленькая, вертящаяся речка чудом исчезала в крохотной, поросшей осокой болотинке и, долго скрываясь под землей, выныривала потом у самой Повати. В Стрижевке водились крупные голавли, а в болотинке гнездовал лунь. Поблизости от болотца виднелся разрытый курган: несколько лет назад тут работали археологи, и до сих пор ребяташки копаются, находят наконецники от стрел. А за курганом — воронка от разбитого немецкого самолета.

Самолетов разбившихся тут много, в них даже жили после войны. Теперь, конечно, это ни к чему: свои избы пустуют.

За последние годы деревня обезлюдела, уезжали в город, переселялись в Коркино. От почернелых, заколоченных домов веяло унынием. На полусгнившей дранке крыш цвел ярко-зеленый мох. Трава пробивалась сквозь щели крылец. Были и пустыри, там торчали остатки фундаментов увезенных изб — вросшие в землю камни, гладкие снаружи, словно обтертые за многие годы. Когда-то сидели тут на завалинках старики, матери нянчили ребятшек. Чего только не видели, не слышали эти камни! Десятки лет честно держали они на себе сосновые срубы, ставленные еще дедами, а теперь вот остались бесполезными серыми валунами.

Возвращаясь в деревню, Игнатьев мрачнел. Угрюмый, чернобородый, он казался Игорю таким же брошенным валуном, которому некого и нечего держать на себе. Игорю хотелось утешить этого человека, он чувствовал себя защитником хорошего и в эти минуты искал и находил только хорошее — клуб, радио, новенький телятник... Но Алексея Петровича, оказывается, не так уж огорчали пустые дома с заколоченными накрест окнами. Люди вернутся. В прошлом месяце, например, Касьяновы приезжали, дом свой смотрели, ходили, допытывались, как в колхозе жить стало. А жить стало куда свободней, — считай, уже с козы на корову перешли. Касьяновы раздумали дом продавать, — по всей видимости, к лету вернутся. В Ногово уже три семьи вернулись. Сам Игнатьев разве плохо живет? Яблонь посадил, смороду, со своих тридцати соток ему, слава богу, на пропитание хватает. Такой урожайности достиг,

куда там за граница! А вот колхозную землю, ту действительно жалко. Лежит она, беспризорная, запущенная. Шутка ли — тысячи гектаров! Дрался за нее, кровь проливали, друг с дружкой резались, помещика жгли, как же не болеть за нее?.. С приходом Пальчикова вроде налаживаться начало. Спасибо Жихареву, убедил, а то народ отказывался: двадцать второй председатель. Перебор... Да, большую надежду на эту весну положили.

О чем бы они ни говорили, все возвращались к земле, к посевной.

Задание Чернышева казалось Игорю бессмысленным. Как он может подгонять, толкать, контролировать такого, как Игнатьев? Да у любого, тут, в деревне, душа за землю болит больше, чем у Чернышева и всей МТС.

Вместе с Саютовым Игорь прикрепил к гусеницам трактора широкие ваги. Испробовали на клину за Лискиной рощей.

Лискина роща, редкая, чуть оперенная листвой, просматривалась навывлет. Прозрачная зеленая дымка сквозила в черноте ветвей. Сразу за рощей начинался большой, отороченный красным тальником клин пашни. Бугристое поле подсыхало неровно, на солнечных склонах отвалы затвердели, крошились под ногами, кое-где побелели, обдутые ветром, а чуть пониже, в бороздах, хлюпала кашка. Стоило ткнуть заступом, проступала вода.

Ваги кое-как держали машину. Перегрузка получалась значительная, но Саютов успокаивал: где сумеем, почешем легкой бороной и выборочно посеим. Игорь морщился: все равно такой форсированный режим для двигателя вреден. Он медлил докладывать Чернышеву результаты испытаний. Жаль было машины, он понимал, что Чернышев немедленно ухватится за эту возможность и прикажет испытывать то же самое на остальных тракторах. Он по-прежнему твердил себе, что его дело двадцать пятое, не к чему идти наперекор, и кто знает: может быть, Чернышев прав, надо не о машинах тревожиться, а стараться как-то поднять дух у людей.

Когда на следующее утро Игорь с Игнатьевым подходили к Лискиной роще, еще издали они услышали перестук дизеля. Саютов, оказывается, получил распоряжение от самого Чернышева немедленно начинать работы выборочно и теперь вместе с Петром Силантьевым готовил машину к выезду.

— Не годится, ребятки, — сказал Игнатьев, — только землю спортите. По такой грязи разве работа?

— Не могу годить, отец, приказ есть, — весело отказывался Саютов, напуская на себя откровенную, вызывающую дурашливость, — приказ высшего начальства. Дисциплина, — напевал он, помогая Силантьеву. — Нам лишь бы не стоять. За простой ты мне денег не платишь.

Пока спорили, подошло еще несколько колхозников.

— Видали его, выборочно хочет, — рассердился Игнатьев. — Да ты мужик или кто? Кусками сеять! Там раньше поспеет, а кругом зелень стоять будет, как убирать станем?

— Убирать небось кусками не станете, — подхватила Прокофьевна.

Вмешался бывший бригадир Петровых, брат того Петровых, что работал в мастерских:

— Известно, они комбайны пустят, все подчистую снимут. Ихний интерес один — гектары гнать.

Говорили все громче, наперебой, тесно обступив Игоря и Саютова. К Игорю никто не обращался, но он чувствовал, что каждая фраза была нацелена и в него.

— Любите вы панику разводить, Елизавета Прокофьевна, — пробовал успокоить свою тещу Саютов. — Если по чистокровности судить, так мы вашу же пользу соблюдаем. Нам мало радости с кусочками возиться. Мы подождать можем.

На него дружно накинулись:

— Вы можете!

— Тебе хоть на Илью сей!

— А что ему, эти гектары от него не уйдут!

— Тебе что! — крикнул Петровых. — Ты свою денежку исправно получаешь. Ваца пища не на нашем поле растет!

Это слово «ваша» намекало не столько на Саютова, сколько на Игоря.

— Тю, тю, — отмахнулся Саютов. — Чего ты на меня наскочил, ровно бугай? Я человек служивый. Если бы мы у вас работали, а то у нас свое начальство есть.

— А что, если подряд сеять? — спросил Игорь. Саютов помотал головой.

— Застрянем.

Игорь и сам понимал, что мокрые концы поля трактор не вытянет.

— Может, на лошадях? — нерешительно обратился он к Игнатьеву.

Тот развел руками.

— Пять пудов везли вчера парой, и кони мокрые, что мыши...

— На наших и верхом не проедешь.

Прокофьевна кивнула на Саютова:

— Нет, ты объясни, почему колхозной пользы у тебя в голове нет. Как в МТС поступил, так что у тебя в голове — тракторы да детали.

— Горючее тоже, — подсказал кто-то.

— ...горючее. А про свою деревню и не думает.

— Эва теща дает! Опиш твоей головы сделала. Домой лучше не вертайся.

Кругом заулыбались, и это впервые задело Саютова.

— Несознательная ваша пропаганда, Елизавета Прокофьевна, — строго и разъяряюще ска-

зал он. — Если хотите, чтобы я за выгоном пахал, так там авария у меня уже была, и обратно в грязь я не поеду. А план выполнять нам необходимо. Без плана и заработать нам не придется. И поскольку такая постановка, вы свою пользу соблюдаете, а если конкретно и практически, так бледно вы будете выглядеть без машин...

— Завел граммофон!

— Где пьется, там и поется.

— Чего вы встречаете! Вот начальство, с ним говорите. На выпады ваши я вообще ноль внимания, — озлился Саютов.

Он махнул рукой Силантьеву. Трактор взревел, медленно тронулся, неуклюже шлепая вагами.

— Что делают, что делают! — сказала Прокофьевна.

Игнатев мрачно посмотрел на Игоря.

— Стой! — крикнул Игорь. — Подожди!

Саютов обернулся.

— Стой!

— То ж распоряжение Чернышева, Игорь Савельич!

— Стой, глуши мотор!

Силантьев нерешительно остановил машину, держа руки на рычагах. У Игоря перехватило в горле.

— Я вам что сказал! Слыхали?! — крикнул он тонким голосом.

Петровых обрадованно угрожал Силантьеву:

— Петро! Слезай! Слезай сей минут! Ты в армии служил? Дисциплину понимаешь? Обязан последний приказ исполнять.

Трактор замолк. Саютов сплонул.

— Под вашу ответственность, товарищ начальник.

Силантьев выпрыгнул из кабины.

— Не знаешь, кого слушать!

— Я сам доложу Чернышеву, — уверенно сказал Игорь.

Он зашагал к деревне. Не оглядываясь, он слышал, как сзади, тихо переговариваясь, следуют за ним те, кто был в поле.

Рация стояла в доме у Саютовых. Игорь вызвал Чернышева. Следом за ним в избу вошли Игнатев, Прокофьевна и Саютов, остальные застряли в сенях у раскрытых дверей.

— Как у вас погода, Игорь Савельич? — затараторила диспетчер. — У нас еще две поломки. Сейчас позову Чернышева. Вам письмо. Верно, от Тонечки. Нарышкин-то, слышали? В силосную яму свалился. Такая потеха!..

Тоня, та сразу бы почувствовала по его голосу, что с ним неладно, что-то случилось.

Прокофьевна вытерла табуретку, придвинула Игорю.

Мерно жужжала рация, ободряюще подмигивал красный глазок.

— Чернышев слушает!

Игорь успокоенно стал объяснять положение, повторяя доводы Игнатьева.

— Все понятно, Игорь Савельевич, и тем не менее необходимо начинать работу. Не теряйте времени и не поддавайтесь уговорам.

— Я не поддаюсь, я вижу положение вещей, я согласен с товарищами.

— Пожалуйста, не будем препираться. Прошу выполнить мое распоряжение, и сочтем эту дискуссию законченной. Как вас прицепщиками обеспечили?

Игорь посмотрел в бледно-голубые, словно вылинявшие глаза Прокофьевны, вздохнул.

— Я этого распоряжения выполнить не могу. Чернышев долго молчал. В сенях кто-то цыкнул на ребятишек.

— Вы говорите от Саютовых?

— Да.

— Там что, народ есть?

— Да.

— Та-ак, аудитория, значит... — протянул Чернышев. — Игорь Савельевич, попрошу вас, возвращайтесь домой, тут по мастерским у вас накопилось... Попросите, пожалуйста, к микрофону Саютова.

Игорь, с трудом разжав пальцы, сомкнутые на подставке микрофона, тяжело поднялся.

— Да... Точно... Я ж разъяснял... — говорил Саютов. — У овчарника, там вроде посуше... Там под лен... Исполнить-то исполним, да меня тут начисто съедят... Что с ними поделаете, Виталий Фаддеевич, кругом стихия!

Игорь стоял перед высоким, стареньким буфетиком. Изнутри стенки его были оклеены картинками из «Нивы» времен первой мировой войны. Казаки скакали с шашками прямо на деревянную солонку, над синей сахарницей летели смешные стрекоты аэропланы; все выглядело наивным, игрушечно-безобидным. Он чувствовал себя мальчишкой. У него все горело внутри от стыда, от презрения к себе, от гнева.

Щелкнул выключатель.

— Уговорил? — угрожающе сказала Прокофьевна Саютову. — Бесстыжие глаза твои, и не совестно перед людьми?

— Я за свои показатели борюсь, Елизавета Прокофьевна. Что ж мне, родственные отношения наперед службы пускать? Пострадать готов за сознательность.

— Ты у меня страдаешь...

Игорь вышел на улицу. В сенях перед ним молча расступились. Он заставил себя поднять голову.

— Скисли? Ничего, это еще не конец, — сказал он как можно тверже, сам не зная, что имеет в виду и на что надеется.

Ему не ответили.

У ворот стояли девушки с Петром Силантьевым.

— Хорошенький у тебя начальник. Петя, — сказала одна. — Вот, девушки, у кого бы на прицепе работать.

— Ишь чего захотела! А его самого-то... — Силантьев что-то шепнул, и девушки прыснули.

Полное право имеют смеяться. Так ему и надо. Не мог защитить людей. Нет, рано смеетесь! Чернышев полагает, что его, как котенка, двумя пальцами взял за шиворот и отщелкал по носу... Посмотрим.

Мышцы плеч, рук сводило от напряжения. Хотелось схватить кого-нибудь за горло, с кем-то драться.

Его догнал Игнатев. Шли молча, быстро. Длиннорылые, поджарые поросята, хрюкая, выскакивали из-под ног. Вытянув шею, шипели вслед гуси.

— Поддаст Прокофьевна пару зятюку своему, — сказал Игнатев. — В прошлом году его бригада знамя получила за показатели, а у нас сто пятьдесят гектаров погнили неубранными. Столкнулись наши показатели. У вас одни, а у нас другие... Уезжаете, значит?

— Нет, подожду, — сказал Игорь. Он вспомнил про Тонино письмо, которое лежало дома, и снова, наперекор себе, повторил: — Нет, я подожду.

Возле дома Игнатевых стояла бричка.

— Никак председатель прикатил, — сказал Алексей Петрович.

Пальчиков сидел на крыльце, разговаривал с Марией.

— Что, бригадир, прижали нас? — сказал он, здороваясь. — Мне разведка донесла.

«Разведка», кусая концы платка, всхлипнула, глаза ее, полные слез, метнули на Игоря презрительный взгляд.

— На Чернышева, разумеется, жмут, — рассуждал Пальчиков. — Опыта у него нет. Районные писаря подговаривают. В МТС тайные советники зудят — план, сводки, процент.

— Как тот петух, — сказал Алексей Петрович, — лишь бы прокукарекать, а там хоть не рассветай.

Они прислушались. Со стороны Лискиной рощи донесся стрекот трантора.

Мария ушла в избу, хлопнув дверью.

— Расстроилась за свой лен, — сказал Пальчиков. Расстегнув планшечку, он вытащил карту участков, постелил на крыльце, ткнул пальцем в заштрихованное голубым карандашом поле у овчарника.

— Вот, господа генералы, давайте совет держать.

Поле у овчарника еще с прошлого года колхоз готовил под лен. Земля там хорошая, специально обработанная. Пальчиков всю зиму обхаживал льностанцию, пока элитные семена выпросил. На лен главную надежду имели — основной доход. И вот этот самый участок Чернышев приказал за-

нять под пшеницу, чтобы как-то вывернуться с показателями сева, а на яровом поле лен сеять, благо с ним еще недельку можно подождать. Колхозный агроном пробовал Чернышева переубедить, тот ни в какую.

— Сейчас, говорит, одна агротехника — сроки. А какая пшеница на нашей земле? Ее хоть какой поить, — сказал Игнатев, — больше сам-три не получится, особенно яровая. Хоть бы ее и совсем не сеяли, хуже бы не было.

— Какой я могу крутой перелом сделать на таких порядках? — обращался Пальчиков к Игорю. — Ведь на этом участке я полтора-два тысяч рублей получу, а если я тебе и Чернышеву подчинюсь, то шиш у меня будет, только цифра в сводке.

Из комнаты донесся плач. Алексей Петрович поднялся, пошел в избу.

Игорю было обидно, что Пальчиков объединяет его с Чернышевым. Отречься от Чернышева, доказывать Пальчикову свое несогласие с директором он не мог.

— Эх, Надежду бы Осиповну сюда! — сказал Пальчиков. — Никогда до нее не дозвонюсь. Она бы схватилась с Чернышевым, она бы показала ему пшеницу!

— Не так-то легко Чернышева уломать, — возразил Игорь.

— Ничего, я его добью. — Пальчиков встал, зло щелкнул кнутом. — Ты думаешь, я буду вам в рот смотреть? Вот вызову Жихарева и пожалуюсь. Мешаете хозяйствовать. Я этот вопрос на попа. Да, на попа! — Он заходил перед крыльцом, стремительно помахиывая кнутовищем, ладный, туго перетянутый ремнем в талии.

— На попа что, а ты его прямо на Чернышева поставь, — обиженно усмехнулся Игорь.

Пальчиков круто повернулся к нему.

— Э-э-э, нет! Бесполезно. Вы из-за машин людей не видите. Мы через Жихарева. Он поймет.

Скрипнула дверь. Алексей Петрович вышел, опустил на ступеньку, почесал бороду.

— Уезжать надумала. Обездолит ее звено, землю забирают.

— Отойдет, — сказал Пальчиков.

— Не, я ее характер знаю. Потому и плачет, что не отойдет. Говорит, чтобы и я собирался. А куда я отсюда? Говорит, опять по полтиннику получим на трудовень. Полтинник ладно, работать впусую — вот чего не хочет.

— Марию-то мы уговорим, это не проблема, — отмахнулся Пальчиков.

— Вы лучше его уехать уговаривайте! — всхлипнув, откликнулась Мария из сеней.

— Как бы не так, — сказал Пальчиков, — у меня и вовсе людей нет, на гектар от силы две с половиной старухи причитаются. Веришь, — обратился он к Игорю, — вчера сам ворота свинарника чинил. И не надейся, Мария Алексеевна, не отпущу тебя.

— Не имеете права! Все равно уйду! Всю зиму старалась. Семена вручную отбирала. А зачем?

— Плачешь раньше времени. Только сырость увеличиваешь, — в сердитой бодрости Пальчикова было что-то напряженное. Игорю казалось: не будь Пальчиков председателем колхоза, то сидел бы сейчас, опустив голову, как Игнатьев.

— А чего ждать? — крикнула Мария. — Сколько ждали. Вы, может, и с душой, только и вам не под силу, видно.

— Цыц. Уймись ты! — прогудел Алексей Петрович.

В сенях звякнула крышка ведра, и все стихло.

— Убедить ее надо, — сказал Пальчиков.

— А я что...

Пальчиков покачал головой.

— Эх ты, бригадир! Опора! Сам веру потерял.

Из-под лохматых тяжелых бровей Игнатьев смотрел куда-то далеко, в поля.

— Обо мне печаль маленькая. Мне трогаться некуда. Моя вера из земли получается. А что с того, что ты веруешь? Ты веруешь, и беси веруют. Вот оно как. Да только без дела вера мертва.

— Так тоже несправедливо, — сказал Игорь. — За этот год, вы же сами рассказывали, дел наворотили больше, чем за десять прошлых...

Пальчиков сбивал кнутовищем присохшую к голенищам грязь. Вдруг он вскинулся:

— Не поможет Жихарев, я сам с Чернышевым законфликтую! Вы что думаете: раз мы от вас в зависимости, то и пикнуть не сможем? Увидим! Я ему докажу! И тебе докажу!

— Что ты докажешь?

— А то, что ты ни рыба ни мясо, вроде Писарева. И нашим и вашим. Еще отговаривал меня машины покупать!

— Зря ты грешишь на Игоря Савельича, — вступился Игнатьев.

— Пусть покричит! — натянута усмехнулся Игорь. — Это он тут со мной такой храбрый. Поэтому что знает мою позицию.

Пальчиков сверкнул на него глазами, выбежал со двора, вскочил в бричку, стегнул изо всех сил по лошади.

— Жихарева искать поехал, — сказал Игнатьев, — распалился. Наломает теперь, — он обеспокоенно покачал головой. — Нельзя ему. У нас какой председатель начнет ругаться с начальством, живо свернут в узелок. Сослужишь, так любят, а не сослужишь, так рубят.

Игорь покачал головой.

— Жихарев не такой. Да и Чернышев...

Он пошел в чайную перекусить. За несколько домов до чайной ему встретился пьяный Петровых.

Еще издали завидев Малютину, Петровых попытался идти прямо.

Он даже пригнулся, следя за своими ногами. Внизу, на земле, он увидел чью-то физиономию и

стал изумленно рассматривать, не понимая, откуда она взялась, пока не сообразил, что видит в луже свое отражение. Он сплюнул и попробовал обойти ее. Но куда бы он ни шел, лужа почему-то всякий раз снова оказывалась перед ним. Махнув рукой, Петровых прислонился к плетню, решив обождать, пока лужа перестанет метаться. Ему было интересно, как инженер из МТС одолеет чертову лужу. Но инженер, вместо того чтобы обойти, перешагнул ее, и Петровых покачал головой, восхищенный человеческой хитростью. От восторга он снял фуражку, приветственно помахал ею и крикнул «ура».

— Как же ты это, Петровых, сорвался? — огорченно сказал Игорь.

Он знал, что до войны Петровых слыл знатным льноводом, а в войну, во время оккупации, спился. Месяца три назад кривичские ребята в порядке подготовки к посевной взялись излечить Петровых от пьянства. Однажды под вечер, найдя его возле чайной валяющимся на земле, они запеленали его в простыню, положили на сани и повезли по улице. Впереди шли несколько человек с фонарями, сади девчата причитали бабьими голосами: «Упокой, господи, душу усопшего раба твоего». Остановились у погоста, у старой часовни, начались надгробные речи. Проезжал мимо Пальчиков, сказали ему: преставился Яков Петровых. Знал про эту штуку Пальчиков или нет, неизвестно, но только факт, что он тоже принял участие в панихиде.

Тем временем Петровых очнулся и не мог понять, что творится. Попробовал подняться, ногами пошевелить, промычал что-то, пробуя голос. Вроде жив, а никто внимания не обращает, знай себе смеются и отпевают. Так лежал он и слушал, как перебирали его жизнь, плюсы и минусы сводили, получался в итоге нуль, и неизвестно, зачем жил человек и кому от него радость была.

Мария, дочка Игнатьева, та подсчитала: одной водки выпито больше тысячи литров, да еще самогона, да пива, да браги — вот и вся выгода от него. Соседский сын, шпингалет, начисто расстроил Петровых, спрашивает, какую музыку на аккордеоне играть. А Пальчиков говорит, что алкоголиков с музыкой хоронить не положено. И вообще, говорит, покойник стал никудышным человеком, семью свою пьянством измучил, соседям одно горе и колхозу срам. Так что и плакать о нем нечего, а между прочим, говорит, имел Петровых, царство ему небесное, большие способности к льноводству, землю чувствовал и мог бы большую пользу принести, если бы не водка.

Петровых лежал, звезды мигали над ним в синем небе, и он плакал горячими слезами. Известно, что пережил он за этот час. Но пить бросил. Три месяца капли в рот не брал.

— А теперь, — сказал он Игорю, — вышибли из-под меня точку опоры. Выпил. Только на другом основании.

Он погрозил пальцем и с прозорливостью пьяных сказал Игорю:

— Ты считаешь, что Петровых от сырых настроений спасается? Извиняюсь. Пардон. От дождя Петровых не запьет. Хотя тут всемирный потоп устраивайте. Обидел меня директор твой. Уважение к нему имел. Это что ж получилось? Я в него верил, и он мне должен доверие оказывать. Так? Я тебя насквозь вижу. Подожди, тебя-то тоже директор обидел? Пойдем выпьем...

Игорь отвел его домой. «Испортит человека, — думал он. — А Пальчиков мечтал его осенью на выставку со льном отправить».

Он и сам не понимал, почему медлит, почему не возвращается домой. Пошел на полевой стан, там никого не было. Игорь осмотрел культиваторы, подтянул пружины, собрался уже уходить, когда на дороге показалась забрызганная грязью коричневая райкомовская «победа». Не доезжая до деревни, машина свернула к Лискиной роще. Игорь пошел за ней следом. Крапал дождь. На востоке широкими полосами сквозь тучи падали солнечные лучи. Тучи ползли к западу, и солнечные окна медленно приближались.

Трактор все еще работал.

На пригорке Игорь увидел Чернышева. Подбрав длинные полы черного пальто, Чернышев неутомимо вышагивал по полю, приседал на корточки, щупал землю, похожий издали на грача. Выпуклые очки его грозно поблескивали на загорелом, хрящистом носу. Возле сеялки, переговариваясь, стояли Жихарев и Саютов. Чернышев что-то показал им, и все засмеялись. Пальчикова не было: наверное, разминулись.

Игорь замедлил шаг. Его не видели. Он мог повернуть назад, сесть на попутку и уехать в МТС.

И если увидит когда-нибудь в МТС Пальчикова, то спрячется в кирпичках, как это уже однажды сделал, и отсидится там, не так ли?

Он сунул кулаки в карманы, поднял голову. «Нет, нет, нет», — тупо, вместе с толчками сердца стучало в висках.

— Вы еще здесь? — холодно удивился Чернышев.

— Это вы ловко придумали с вагами, — похвалил Жихарев.

— Это Виталий Фаддеевич.

— Почему же так мрачно? — засмеялся Жихарев.

— Машину портим. Пережог большой.

— Ничего, за лето сэкономим, — сказал Чернышев.

Игорь расправил плечи.

— И вообще все это неправильно.

— Что неправильно? — спросил Жихарев.

— А то, что мы здесь... на выборочных участках. И то, что поле за овчарником под пшеницу занимаем. И машины ломаем, людей не слушаем... Саютов деликатно отошел в сторону.

Игорь рассказывал про то, что Мария собралась уезжать, про слова Прокофьевны. Перед лицом невозмутимого, вежливо-внимательного Чернышева он старался говорить тоже спокойно и солидно, но не мог, получалось у него путано и нервно. Он видел снисходительное терпение, мерцающее в глазах Чернышева, и все время чувствовал, что Чернышев считает все это пустяками и ждет чего-то другого, решающего. Сердце его сжалось, он был уверен, что как только Чернышев поймет, что это и есть главное, он рассмеется и скажет нечто такое, от чего все жалобы Игоря и сам он сразу окажутся глупыми и смешными.

Жихарев изумленно шевелил бровями. Удивление его относилось к Игорю, и, почувствовав это, Игорь испугался. Нет, не за себя, а за то, что он не сумеет убедить Жихарева. И он заговорил еще громче, почти закричал, готовый схватить Жихарева за отвороты пиджака, трясти его...

Умолкнув, он некоторое время ничего не слышал, оглушенный потоком собственных слов. И только голос Чернышева, отвечавшего Жихареву, заставил его очнуться.

— Выходит, мы с вами поменялись ролями, — говорил Чернышев. — Мне полагалось бы беречь технику, оттягивать сроки, а вы, вы должны были бы жать на меня, торопить, не считаясь ни с чем.

— То, что Малютин рассказывает про аварии, факт?

— Подход техника. Узководомственный подход человека, у которого одна забота — поменьше хлопот с ремонтом.

— Неправда, Виталий Фаддеевич! — Игорь посмотрел на Чернышева в упор, широко раскрыв глаза.

Чернышев поправил дрогнувшей рукой очки, принужденно улыбнулся.

— С вами, Игорь Савельевич, происходят отрядные перемены. Поэтому, как сказал Пушкин:

Простим горячке юных лет
И юный жар, и юный бред.

Взаимными обидами мы ничего не добьемся. Для меня самая легкая позиция — беречь технику, сидеть и ждать погоды. А я не хочу этого.

На мгновение ровный голос Чернышева смолк. Он помолчал и успокоенно продолжал:

— Я поборол в себе деляческие стремления и буду искоренять их и у других.

Жихарев невесело улыбнулся:

— У колхозников?

— Люди духом упали, им надо настроение поднять.

— Нечего сказать, подняли! — повысил голос Жихарев. — Мария собралась уезжать.

— Я имел в виду механизаторов.

— А я колхозников!

И тут Игорь впервые увидел, каким становится Жихарев без улыбки, когда сбегает веселый румянец и за твердыми щеками проступают скулы.

— Вся ваша техника и реконструкция не самоцель, а для того, чтобы дать больше хлеба! И вы, и я, и трактористы — все мы для того, чтобы помочь колхозникам, которые делают хлеб. Мы для них. А не они для нас. Вы сами критиковали работу ради сводки? А что получается? Ломаем агротехнику. Забываем про лен. Ради той же сводки. Я из крестьян и знаю, что значит лен в наших местах.

Чернышев снял шляпу, аккуратно вытер платком лоб, лицо. Костяная желтизна его голой головы казалась сейчас безжизненной.

— Конечно, бьют нас из-за этой сводки, — смягчая голос, говорил Жихарев, — вот мы и крутимся, голову теряем. Как говорят, битье определяет сознание. — Улыбка вновь скользнула в углы его губ.

Чернышев, не надевая шляпы, взял Жихарева под руку, отвел в сторону.

— А если ранняя осень? Тогда все пропало, — с болью сказал Чернышев. — Зачем же я ехал сюда? Ведь ехал, чтобы поднять, наладить. Перед обкомом стыдно, перед своими друзьями. Мне в ЦК сказали: мы надеемся на вас. Вот и понадеялись. В такую весну опозориться? Кругом у всех подъем, а мы... Любой ценой...

Жихарев жестко улыбнулся.

— Доверие — сила великая. Помните, как вы требовали от Кислова доверия к себе. А сами доверять, выходит, не хотите...

Они отошли, и больше Игорь ничего не слышал. Он устало опустился на сложенные в кучу камни. Тупое оцепенение охватило его. Подошел Саютов, присел перед ним на корточки.

— Промашка вроде может получиться, Игорь Савельич, концы подзамокли, крутимся посередке. Буерачки обходим. — Саютов поковырял пальцем землю. — Драма у меня семейная на этой самой сырой почве происходит. Хоть назад не вертайся. Теща забуксовала, грызет... До чего принципиальная старушка! Конечно, у нее своя забота. Понимает, что комбайном нам кусочковать на уборке невыгодно. Жаткой конной — другое дело. Была бы моя власть, я бы жатку и пустил. Да только я человек маленький, — он вопросительно посмотрел на Игоря. — Вас бы, Игорь Савельич, послушали, вы ж у нас вместо главного инженера.

— Это временно, — сказал Игорь.

— Вы своего добьетесь, — подмигнул Саютов. — Я слышал, как вы с директором схлестнулись. Это ж страшную силу надо иметь!

Игорь криво улыбнулся, и Саютов засмеялся, признаваясь, что его раскусили.

— Будет баки заливать, — сказал Игорь. — Ладно, постараюсь.

Саютов поднялся.

— По рукам. Запрессовали. Убираем жаткой, и все в ажуре. Значит, я в полной надежде. Те-

перь у меня дома другой поворот получится. Такой залп с этих позиций дам по теще...

Домой Игорь ехал с Жихаревым. Пойти в Кривицы вместе с Чернышевым Жихарев отказался.

— Может получится неудобно, — сказал он Чернышеву, — обратятся ко мне с жалобой на вас. Что тогда? Отменять ваши распоряжения? Ругать вас? Лучше сами разберитесь, и в первую очередь насчет того поля за овчарником.

— Это что, приказ? — спросил Чернышев.

— Совет, просьба, как угодно. Именно потому, что я не хочу вам приказывать. Если я не убедил вас, то там вас убедят. Единственное, на чем я настаиваю: выслушайте людей.

— А на этом поле я буду продолжать выборочную работу, — угрюмо настаивал Чернышев. — Заранее предупреждаю. Пусть даже только ради моих людей. Самое опасное — настроение безнадёжности. Оно как ржа, как коррозия. Сидят, смотрят на небо, руки на этом самом месте... — Он осекся, поджал губы.

— Мать честная! — воскликнул Жихарев. — Неужто даже такая посевная не заставит вас ни разу выругаться? Редкий вы человек!

— Если бы это помогло, — кисло улыбнулся Чернышев.

Приподняв шляпу, он сухо попрощался и зашагал к деревне, прямой и длинный, нездешний на фоне тепло-розовых березок.

— Ничего, — задумчиво сказал Жихарев. — Пусть. Ему собственное настроение надо поднять. Черт с ними, с выборочными участками.

Машина осторожно пробиралась ухабистым проселком через рощу.

В зеленых пястьях листьев лежали блестящие, тяжелые капли. Дождь давно кончился, но здесь он сыпал прохладным ливнем с ветвей, когда их начал ветер или задевала машина. Из свернутых листов обрушивались целые водопады озорной, веселой воды.

Жихарев выставил руку, ловя ладонью падающую каплю.

— Места-то наши какие! Есть где развернуться, — восхищенно сказал он. И дорогой показывал Игорю охотничьи приюты и грибные места, малинники, орешники.

А как хорошо будет здесь, когда зацветет сирень! И потом, перед сенокосом, вечерами, когда в деревнях отбивают косы, перестукиваются десятки молотков, и длинный, тонкий звон тонет в туманных низинах...

Игорю казалось, что Жихарев старается как-то развлечь его, приободрить, не показать, как ему самому тяжело.

— Чибис кричит... Тучки красные... Авось к ведрам. Если вы насчет Чернышева, не беспокойтесь: он человек справедливый. Обстановка сложная, каждый свое предлагает. Будь весна дружная, и мы бы дружные были. А тут, после таких серьезных решений партии, провалить этот

сев... — Жихарев не закончил, и то, что он не досказал, было той же самой болью и тревогой, что мучили Игоря все эти дни. Но оттого, что Жихарев переживал то же самое, стало легче, спокойнее, появилось чувство родственности к этому человеку, который, оказывается, был в чем-то таким же, как Игорь, и стоял рядом с ним во всей этой заварухе.

С каждым днем у Жихарева росло искушение уступить требованиям, которые раздавались и в райкоме и сверху, из областного управления, — сеять, сеять. Кислов истерическими телефонограммами грозил последним местом в сводке, грозил ранней осенью, вспоминал сотни необранных в прошлом году гектаров. Всевозможные советчики доказывали, что за срыв посевной попадет, а за плохой урожай не спросят. Риск был огромный и напор во многом обоснованный, но Жихарев держался, держался изо всех сил, выгадывая еще сутки, еще день, черная поддержка в председателях колхозов, бригадирах, у секретарей обкома. Но и они тоже — он это чувствовал — нервничали, огромным усилием воли выдерживая растущее напряжение риска. В ушах его звучали слова Чернышева: «Ведь стыдно перед обкомом». Как будто ему, Жихареву, не будет стыдно перед обкомом, перед своими коммунистами. Обязательства взяли, всякие речи держали... Если по совести, так ведь государство дало все с избытком: специалистов прислали, машины, дано было все, — и, как никогда, он отвечал за тысячи людей в своем районе, за их труд, за их будущее, за хлеб.

Так же, как он надеялся на Пальчикова, на председателей колхозов, на того же Игнатьева, так и там, в обкоме, надеялись на его умение, опирались на его выдержку и черпали в ней уверенность.

Машина остановилась у мастерских. Игорь попрощался. Жихарев задержал его руку, крепко стиснул ее и ощутил в ответ вдруг такое же крепкое пожатие. И тогда Жихарев сообразил, что, собственно, этот парень сегодня первым схватился с Чернышевым и, в сущности, он отстоял под лес участок за овчарником. За всеми спорами Жихарев не уловил, что же произошло, откуда и когда в Малютине появилась эта решимость и сила. Только сейчас он понял, что значило для Малютина выступить против Чернышева. Жихарев, все еще не выпуская руки Игоря, засмеялся изумленно и обрадованно.

Всю дорогу до Коркина он продолжал удивленно улыбаться, и вечером в райкоме перед ним время от времени возникало юношески преувеличенно-суровое, непреклонно-требовательное лицо Малютина, когда он пожимал Жихареву руку, благодаря и в то же время подбадривая: крепись, мол, старик. И от этого воспоминания Жихареву становилось теплее.

Дома Тонного письма не было. Не догадались принести. Из темной комнаты дохнуло нежилым. Игорь запалил лампу, поставил на керосинку чайник и, ставив сырые сапоги, повалился на кровать, вытянув гудящие ноги.

На рассвете, еще не открывая глаз, он пошарил рукой, ища Тоню, и ткнулся в прохладную вздутость подушки. Недовольно разлепив веки, он огляделся. И тут, ощутив чад давно погасшей керосинки, вздохнул. Никак не привыкнуть к тому, что Тоня уехала. Он окончательно проснулся, вскочил, вышел на крыльцо как был, босиком, и... зажмурился.

Синь и солнце ударили ему в глаза.

Невероятно яркая после бесконечной дождистой пасмури синева, дрожащая, напоенная солнцем, затопила его. Солнце, большое, розовое, только-только оторвалось от горизонта и сразу подняло небо высоко вверх, распахнуло, сделало огромным, пронзительно синим. Вся скопленная за этот месяц, прикрытая хмарью ясность, вся неистраченная сила света хлынули разом на землю. Воздух был синим, пел сотнями птичьих голосов. Виделось далеко, просматривалась любая малость до самого края земли, и казалось, что земля раздвинулась. На дальнем черном бархате пашни вспыхивали, сверкали мелкие блески. Росистая зелень колола глаза острыми лучиками, и свежий запах ее все нарастал. Это было то долгожданное утро, за которым начинается прочная теплынь.

Игорь прыгнул с крыльца. Холодная сырость обожгла босые ноги, но уже через несколько шагов он почувствовал первое парное тепло быстро согреваемой земли. Он шел, погружаясь в теплую, прозрачную синеву, словно растворяясь в ней.

В одном из окон дома Чернышевых, стиснув голову руками, сидел Виталий Фаддеевич в мятой ночной рубашке. Видно было, что сидит он так уже давно, может быть с ночи, когда приехал.

Игорь вспомнил о вчерашнем, и перед лицом этого солнечного утра его спор и ссора с Чернышевым показались ему ненужными. Его охватили жалость и раскаяние, он готов был просить извинения. Из глубины комнаты к Чернышеву подошла Мария Тимофеевна, обняла его, поглаживая пальцами его щеки, лоб, там, где трещинами врезались горькие складки, Чернышев взял ее руку, поцеловал. Невидящий взгляд его скользнул по Игорю, и в это мгновение Игорь как будто прикоснулся к тому мучительному и трудному, что происходило в душе этого человека.

«Бог ты мой, неужто и он понял, что я был прав!» — подумал Игорь, и все в нем замерло от какого-то непривычного, надвигающегося на него восторга. «Значит, я был прав! Теперь уж точно, что я был прав. Я, а не Чернышев!» Он, Игорь Малютин, оказался прав! Даже не он, а Игнатьев, и Прокофьевна, и Жихарев, и Мария. Он был вместе с ними. Он устоял. Он был прав, что доверил

им. Он верил с ними в эту весну, в эту синь. Победное торжество весны было и его торжеством, оно сливалось с этим высоким, ярким небом и блистающей землей...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Последний экзамен! У дверей аудитории толпятся студенты, лихорадочно листают конспекты, спрашивают друг друга. Тоня, зажав уши, ходит взад-вперед по коридору, бормоча: «Деленное на шесть мю квадрат». Она уже забыла, что деленное и какое мю, и когда доходит ее очередь, ей кажется, что она забыла вообще все, остались только эти «шесть мю квадрат», которые неизвестно куда и к чему приложить. «Братцы, когда наступает критическая точка насыщения?» — взывает кто-то. «Братцы» кидаются к учебникам разыскивать эту критическую точку, и выясняется, что именно про эту точку никто не читал, а если и читал, то не понял.

По лицу того, кто выходит из аудитории, можно в точности узнать полученную отметку. Его окружают: как, сколько, какие вопросы?.. Оттуда, сквозь плотно прикрытые двери, неведомыми путями непрерывно поступают сообщения. Таинственные токи циркулируют между аудиторией и коридором. В любой момент здесь известно, что творится там, у доски, — «выплывают» или «засыпаются», какое настроение у самого, что он сказал.

Тот, кто выходит из аудитории, совершенно не похож на того, кто входил туда: происходит чудесное превращение. Студент, сдавший экзамен, знает теперь все. Он консультирует любого. Ему известно даже про эту критическую точку. Голос его звучит покровительственно, движения ленивы и степенны. Он щедр, он расточителен, ему ничего не стоит отдать конспект, карандаш, справочник, какие-то записочки, рассованные по карманам. И неважно, что он получил, пятерку или четверку, даже тройка не может надолго омрачить его настроение, потому что, как бы там ни было, экзамен последний. Нездешние мечты уже туманят его глаза. Нездешние страсти врываются в его иссушенную экзаменами душу. Он отправится на пляж в Петропавловку. Почему в Петропавловку? На Острова! В Петергоф! В Зеленогорск! Закроет глаза и будет лежать на песке до самого вечера. Пойдет в кино. На футбол. Пойдет во двор и сам будет гонять мяч, играть в теннис, в шахматы, карты, пятнашки, в «дочки-матери», сядет и будет лепить из песочка пироги, играть во все, во что только можно играть... Вот что такое последний экзамен!

Некуда спешить, можно болтать с теми, кто уже сдал, и слушать, как Костя Зайченко, копируя доцента, говорит:

— Студент на экзамене как собака — глаза умные, а сказать ничего не может.

Кто-то спрашивает:

— Тонечка, ты с нами на стадион?

Она спохватывается, вспоминает, что внизу в садике ее ждет Ипполитов.

Он помогал ей готовиться к экзаменам, по вечерам они встречались в парке, сидели, зубрили. Он уверял, что ему самому полезно вспомнить институтский курс. Как бы там ни было, она видела, что это доставляет ему удовольствие. И никаких «глупостей» он себе не позволял.

Букетик ландышей, который он протянул ей, был теплый, помятый. Вероятно, Ипполитов ждал ее давно. Новенький, песочного цвета костюм, полосатая рубашка с отложным воротничком придавали ему праздничный вид. Они поехали в центр, к Невскому. Тоня рассказала про экзамен, про свою пятерку, про то, как одна студентка вместо «скручивающего усилия» сказала «вкручивающее усилие». Ипполитов тоже вспоминал анекдоты своих студенческих времен.

Вагон трамвая был новый, светлый, с большими окнами. В таких вагонах Тоня еще не ездила.

— А знаете, — начала она и заранее засмеялась, — у нас на электротехнике спросили одного парня, почему трамвай работает на постоянном токе. Так он ответил: переменный ток нельзя, потому что трамвай будет двигаться по синусоиде. Представляете? — И она заливалась смехом, волнообразно махала рукой, изображая эту самую синусоиду.

На Невском с части фасадов, начиная от Садовой, только что сняли леса. Дома словно взмыли к небу, подброшенные легкими колоннадами, свежеекрашенными лепными порталами. Розоватые, сиреневые, голубые, но в каждом присутствовал чистый, спокойный серый цвет — цвет. Невы, камня, туманов, цвет, свойственный только этому городу.

Со дня приезда она впервые гуляла по Невскому. Некуда было спешить, никто ее не ждал. Наслаждаясь, она останавливалась у витрин, все равно у каких, с одинаковым интересом разглядывая старинную мебель, охотничьи патронташи, новые книги. В продуктовых магазинах высились коричневые поленицы колбас, пестрые пирамиды всевозможных консервов, красные сыры; лоточки торговали свежей черешней.

Тоня подмечала у встречных женщин прически, фасоны платьев, туфли.

Потом ее вдруг утомила эта шумная толпа, и они свернули на канал Грибоедова. Там было малолюдно. На гранитных плитах шевелились тени старых лип. Тоня перебралась через парапет набережной и пошла по карнизу над водой. Страх Ипполитова ее забавлял.

— Не хватайте меня за руку, а то я прыгну вниз, — сказала она.

Они постояли у щита с театральными афишами. Чего там только не было! Цирк. Какой-то

итальянский тенор. Сеанс гипноза. Карнавал «Белые ночи».

— Хочу на карнавал!

Ипполитов обрадовался: возьмем билеты.

— Но это будет через неделю.

Разве она собирается скоро уезжать, спросил Ипполитов.

Тоня сразу поскучилась.

— Не знаю. Я об этом сейчас и думать не хочу.

На всякий случай он все же возьмет билеты. Она не ответила. Пусть берет.

— Зачем вы торопитесь уезжать? — наклонясь к ней, тихо спрашивал Ипполитов. — Что вас там ждет? Вы же любите Ленинград. Вы городской человек. Неужели вам там интереснее? Или, может быть, там вы нашли свое призвание? Перспективу?

— Что ж, вы считаете, — взъежилась Тоня, — я не могу там найти себе применение?

— Конечно, можете. И вы доказали это, — поспешно согласился Ипполитов. — Совесть ваша может быть спокойна. Но дальше, что же дальше, что же дальше? Не всегда ж оставаться там. Лучшие годы жизни провести там! Зачем? Как будто здесь, в городе, вы не можете принести такую же пользу. Уверю вас, здесь вы сделаете не меньше.

— Не меньше! — Она фыркнула. — Как-нибудь!

На что уходило там ее время — строчить пустые бумажки, таскать воду, возиться с противной дымной плитой, ездить на базар.

— Понятия «долг», «обязанность» существуют не для того, чтобы разрушать человеческое счастье, — говорил Ипполитов.

То, как Ипполитов произносил слово «долг», возбуждало в ней сочувственное негодование: почему это она должна, с какой стати? Вот шагают парень с девушкой, размахивая теннисными ракетками. Почему им можно жить в Ленинграде, а они с Игорем должны торчать там, в деревне?.. Тоня тряхнула головой и вдруг озорно рассмеялась.

— А вы, вот вы живете в городе, вы счастливы?

Ипполитов смутился, долго молчал, потом сказал выжидающе:

— Конечно, там природа...

— Эх, вы... — она разочарованно отвернулась. Не то обидя за себя, не то досада заставила ее сказать: — Никакой там нет природы. Здесь уже пахнет липа, шумят деревья. Сухо. А там... — она вспомнила письмо Игоря, — там, наверное, никогда не бывает лета, там и сейчас грязно, холодно.

Ипполитов сочувственно вздыхал. На мгновение перед Тоней возникли две березки на кладбище и тот зимний день с розовым снегом и далеким закатным блеском невидимого дома, и ей

стало совестно, как будто она изменяла и тем березкам и закату...

Они спустились в шашлычную перекусить. Ипполитов заказал портвейн. Выпили за окончание экзаменов.

— За ваше возвращение, — добавил Ипполитов.

Ей было приятно, что Ипполитов ей сочувствует, и она рассказывала, как трудно ей приходится в деревне, как там бедно и скучно.

— Ну так оставайтесь! Чем вам тут плохо? — Он взял ее руку, медленно перебирал, гладил пальцы. — Не упускайте, может быть, последнюю возможность. Потом захотите, и будет сложнее. Вас там засосет.

Она слушала Ипполитова с жадностью, почувствовав вдруг, как это чудесно — остаться в Ленинграде. Вернуться навсегда на завод, в институт, в свою комнату, жить здесь. Ведь она, в сущности, не пользовалась по-настоящему городом, не понимала, что живет в городе.

— ...Вы только теперь сможете по-настоящему оценить и город и завод. Всю прелесть подлинно культурного производства.

— Я-то свободна, а Игорь?

— Ничего, ничего, все уладится. — быстро заговорил Ипполитов. — Прежде всего вы должны решиться сами. Вы верите в свою звезду? Весьма немногие умеют следовать за своей звездой. Да вам и решаться-то нечего. Ваше дело правое.

Ну, разумеется, она права, уговоры Ипполитова тут ни при чем. С ошеломляющим, каким-то сладким страхом она уверилась, что уже давно, еще там, в Коркине, она решила на это, видя, как Игорь мучается, как ему плохо. Готовясь к экзаменам, она обманывала самое себя. Играла с собой в жмурки. Она боязливо шевельнула пальцами на ногах, вспомнив вонючие желтые лужи в коровнике.

— Алексей Иванович, посоветуйте, как бы вытащить оттуда Игоря?

Отсюда, из города, она вдруг увидела Игоря совсем по-иному — он показался ей одиноким, замученным этими мастерскими, непрестанными работами о тракторах. Что у него впереди? Уборочная, потом опять ремонт, снова посевная, и так из года в год. Сердце ее разрывалось от жалости. Ипполитов налил себе полную рюмку, молча выпил.

— А вы уверены, что он хочет оттуда уехать? — Конечно.

— Не знаю... Да будет вам известно, Тонечка, есть люди, которые быстро достигают своего потолка и на этом успокаиваются. Больше им ничего не надо и стремиться не к чему. Они очень довольны собой, они с гордостью твердят: «Мы маленькие люди, мы соль земли, мы солдаты», — в общем, целая философия. А на самом деле это просто ограниченные люди.

— При чем тут Игорь?

— Не знаю. Во всяком случае, мне непонятно, почему он сам не может добиться возвращения. Дядя — директор. Наконец это изобретение. Вместе с Лосевым он бы мог... Э-э, да мало ли путей! Если бы он вас по-настоящему...

— Не смейте так говорить!

— Нет, я смею, и вы знаете, почему я смею.

— Стоп! — Тоня хлопнула рукой по столу.

— Не могу я без вас... Ну, хорошо. Не буду. Но все же другой на его месте вел бы себя иначе. Видеть, как вы там мучаетесь, и ничего не предпринимать. Да разве вам там место? Зачем вы там нужны?

— А вы, как бы вы поступили? — спросила Тоня.

Ипполитов мечтательно усмехнулся, погладил ее руку.

— Уж будьте спокойны, я бы вас в два счета вытащил оттуда.

Тоня досадливо сморщилась. Не она, а Игорь, Игорь там страдает. Она вдруг почувствовала, что всю ту радость, которую она получает от возвращения в Ленинград, испытывал бы и Игорь. Для него это было бы еще большим счастьем. Он сразу бы душевно выздоровел, успокоился. Отсюда, из города, ей все стало виднее.

— Нет, вы отвечайте, Алексей Иванович: что бы вы сделали?

— Я бы потребовал личного участия в реализации изобретения. Завод сейчас весьма заинтересован в этом.

— А у кого бы вы потребовали?

— У того же Лосева. Да, наконец, у Логинова, ведь это его инициатива.

— А вы, вы не могли бы помочь?

Ипполитов опустил голову.

— Вам — да. Вам одной. А устраивать ваше семейное счастье — увольте.

Вместо того чтобы огорчиться его отказом, она почувствовала некоторое удовольствие.

— Леонид Прокофьевич, он скажет: раз по комсомольской путевке... Ведь Игорь сам согласился... Да и вообще это как-то...

— Знаю, знаю. Долг. Патриотический призыв. Все это, Тонечка, общие слова, непригодные для частных случаев. Жить принципами — все равно что питаться одними витаминами. Жизнь дается однажды, и надо спешить, чтобы успеть достигнуть большего. Нельзя терять ни одного дня. Пусть другие морочат себе голову. Думаете, я карьерист? Ничего подобного. Просто я знаю, что имею все данные для того, чтобы идти вверх. И я своего добьюсь, будьте уверены. Да это же и увлекательно, это требует многого — быть всегда впереди. Тоня, если бы вы были рядом, чтобы мне хоть раз в день видеть вас...

Ей и льстило его неприкрытое чувство и были неприятны его откровения, произносимые шепотом. Минутами ей становились противными его маленькая головка на гибкой, белой шее

и мертвенно-белый пробор на этой голове. Но он, словно чувствуя это, смотрел на нее так влюбленно, что у нее язык не поворачивался сказать ему какую-нибудь резкость.

Отчасти она даже оправдывала его нежелание хлопотать за Игоря.

Она сообщила, что передала через Семена папку Игоря для Веры Сизовой.

Он усмехнулся и перевел разговор, предлагая устроить ее снова в КВ. Если она хочет стать полноценным инженером, ей надо остаться в Ленинграде, перейти в вечерний институт, а впоследствии и на дневное отделение. Он рассуждал так, будто она существовала независимо от Игоря, будто она была свободна и вольна делать с собой все, что вздумается.

Слова его будоражили воображение. Перед ней открылось множество мнящих картин. Все зависит сейчас от ее энергии.

С новой радостью любовалась она нарядной солнечностью шумных улиц. Ветер толкал в спину, делал шаг легким, летящим.

Прощаясь, Ипполитов поцеловал ей руку. Впервые в жизни ей целовали руку. Это было необычно и радостно, так же, как и весь этот счастливый и тревожный день, и солнце, и город, и пришедшая к ней решимость.

После совещания у директора положение Лосева на заводе заметно пошатнулось.

Это было одно из обычных рабочих совещаний, и в числе прочего там разбирался вопрос о ходе работы над «Ропогом».

Логинов выслушал главного инженера, затем Лосева, затем технологов, которые всячески оправдывались, сваливали вину на Сизову. Кое-кто, в частности технолог механического Колесов, пытался защитить Сизову, искал смягчающих обстоятельств, но это не произвело впечатления.

Вопрос казался предрешенным. Лосева теперь занимало одно: каким образом станет выворачиваться директор? Будет ли он оправдываться, каяться, сманеврирует, пойдет на мировую? При всех случаях Лосев считал свою победу обеспеченной.

Стоило объявить действия Сизовой вредными, опасными, и никто не рискнет показать то полезное и нужное, что есть в ее работе. Критиковать любое новшество всегда безопасней, чем защищать его. Тот, кто требует строгости и наказания, находится в более выгодном положении, нежели тот, кто требует внимания и помощи.

Выслушав всех, Логинов как ни в чем не бывало подытожил техническую сторону дела и пришел к выводу, что схема себя оправдывает, надо придать группе Сизовой инженеров из центральной лаборатории, работы форсировать. Программист — это не прихоть Сизовой или институтских

ученых. Это требование стремительно растущей техники. Производство все чаще нуждается в быстрой перестройке для перехода с одного вида продукции на другой. Нужно маневренное, гибкое оборудование.

Лосев все еще не понимал, чем это кончится, но тут Леонид Прокофьевич улыбнулся и сказал:

— Что же касается Сизовой, то после всех неудач ее можно вместо врио утвердить руководителем группы. Поскольку она многому научилась. Опыт неудач в технике — тоже ценный опыт. Кроме того, она имеет мужество рисковать. Без риска нет творчества. Мы излишне страшимся риска, поэтому следует поощрять таких инженеров, как Сизова.

И вдруг все заулыбались, обрадованные внезапным поворотом дела. Никаких расследований, розысканий, последствий... Все, что случилось, предстало обычным, естественным; во всяком новом деле бывают производственные трудности. Каждый невольно припоминал собственные неудачи.

Возникло какое-то веселое и смущенное недоумение: как они могли поддаться подозрительности, скандалу, когда, в сущности, с самого начала все было просто и ясно: автоматизация должна продолжаться как можно шире, и никто лучше Сизовой эти работы вести не сможет.

Уверенность Логинова словно парализовала Лосева. Он никак не мог понять, заручился ли Логинов поддержкой в обкоме, либо он действует на свой страх и риск? Почему он не использовал удобного случая обрушиться на Лосева? К защите Лосев был готов, но неожиданно он получил удар с другой стороны.

Нападение произвел Ипполитов: отдел главного механика безобразно обеспечивает работы материалами; если бы не цеховые комсомольцы, которые героически проштурмовали заказ, план завода мог сорваться, и социальность провалилась бы. Он скромно подчеркнул: «цеховой комсомол», — но получилось так, как будто за всем этим стоял он, начальник цеха. Ипполитов вспомнил о первом совещании по «Ропагу». Уже тогда отдел главного механика выступал против проекта («Леонид Прокофьевич помнит, как мы там спорили с Лосевым»). Таким образом, эта линия тянется давно. Отдел боится внедрять всякую сколько-нибудь сложную технику...

...И Лосев тоже вспомнил то совещание. Как все страшно переменялось с тех пор! Логинов стоял тогда перед ним в куртке мастера, и Лосев мог кричать на него и выставить его из кабинета. Но, может быть, самым грозным признаком перемены было отступничество Ипполитова. С тем же нагло-ясным лицом, с той же задушевной болью в мягком голосе Ипполитов говорил сейчас совершенно обратное тому, что говорил до сих пор. Он беззащитно смотрел на Лосева, и взгляд его был осуждающе-сочувствующий, точь-в-точь

такой же, каким он несколько дней назад смотрел на Сизову.

Претензии Ипполитова к отделу главного механика подхватили начальники других цехов. То и дело раздавалось: «Правильно требует Ипполитов», «Пора заняться механизацией», «Ипполитов прав!» И таким образом Ипполитов снова оказался впереди.

Когда совещание кончилось, Лосев попробовал было усовестить Ипполитова. Тот нисколько не смутился. «Я вас должен ругать, — спокойно возразил он, — вы меня вовлекли в это грязное дело. Вы совершенно не учитываете обстановки, вы своей ненависти к Логинову и Сизовой».

Лосев не спорил, не угрожал, — не к чему увеличивать число своих врагов.

С тех пор началось.

Цеха настойчиво выдвигали проекты, в свое время забракованные и отставленные Лосевым. Внутри отдела группа молодых инженеров подняла шум по поводу новых суппортов, забракованных Лосевым еще полгода назад. Даже Абрамов, конфузливо комкая в руках свой заячий трех, заявил, что вряд ли стоило заказывать специализированный шлифовальный станок, поскольку есть возможность приспособить старый.

Логинов молчал. Но Лосев постоянно чувствовал на себе его внимательный, выжидающий взгляд. Лосев жаждал, чтобы Леонид Прокофьевич вмешался, тогда Лосев мог бы заявить, что директор ему мстит за прошлое. Но Логинов молчал, и Лосев раскусил его дьявольский план: уничтожить Лосева чужими руками, создать условия, при которых Лосев не сможет работать, показать его техническую несостоятельность, выжить с завода.

Руководя отделом, Лосев выработал для себя правила, которые он применял в своей борьбе за существование: нельзя допускать появления конкурентов, то есть знающих, хороших механиков; выдвигать надо людей бесталанных, малосведущих или чем-то подмоченных, такие будут держаться за свою должность, исполнять все, что угодно. Сила состоит в том, чтобы пользоваться слабостями других. Важны не знания станков, технологии и т. п., важны отношения с начальством; как ты расцениваешь своих подчиненных, так и главный инженер и директор расценивают тебя, поэтому до поры до времени не высывайся, не старайся блеснуть своей инициативой и эрудицией. Посредственность всегда всем приятна. Важно исполнять, а не предлагать. Нововведения, рационализация — все хорошо, все надо поддерживать, если их можно засчитать себе в актив, подключить к ним начальство. Работать надо так, чтобы никого там, наверху, не беспокоить; важно мнение сверху вниз, а не снизу вверх...

Лосев выработал себе немало этих правил и успешно пользовался ими при старом директоре. Еще полгода назад они срабатывали

и на нынешнего главного инженера. Однако с тех пор, как секретарем выбрали Юрьева, как вернулся Логиннов, правила все чаще оборачивались против Лосева. Он утешал себя: все это временно, все вернется к прежнему.

Но время шло, а он терял одну позицию за другой. Цеха расширились, вводились новые произведения, на отдел главного механика наседали со всех сторон. Лосев бросился в партком — советоваться, согласовывать. Раньше в затруднительных случаях ему всегда помогала ссылка на партком, на установки, на указания. Уже то, что он ходил, спрашивал мнения, советовался, пускай по мелочам, создавало какую-то взаимную ответственность.

Раз-другой Юрьев терпеливо выслушал Лосева, подсказал, а потом ошарашил: «Если тебе так трудно, что даже с этой чепухой не справишься, то давай обсудим на парткоме, что там у тебя творится».

Лосев отлично понимал, чем грозит обсуждение на парткоме в присутствии инженеров его отдела. Необходимо было найти какой-то иной ход.

Беспечно улыбаясь, он выдержал испытующий взгляд Юрьева. Какое счастье, что можно укрыться за перегородкой лба! И никто понятия не имеет, что происходит там, внутри: опасения, мстительные расчеты, ненависть...

Появление Тони, ее просьбу он принял как улыбку судьбы. Множество соображений, смутных, но заманчивых, промелькнуло в его голове. Малютин — парень из своих, предавший, полезно его вернуть в отдел. Кроме того, он племянник Логинова. Если сам Логиннов оставит его на заводе, это тоже козырь против Логиннова. Возвращение Малютина в какой-то степени будет бить Сизову и оправдывает его, Лосева.

Он заверил Тонию в своем полном сочувствии. Он сделает все, чтобы принять Малютина обратно, он всегда любил его и помогал ему. Конечно, глупо было отдавать такое ценное предложение по «Ропагу» Сизовой («Я же говорила Игорю!»), теперь следует добиться от Сизовой признания ценности этого предложения и тогда нажать на Логинова. Попади Игоревы разработки в руки Лосева, все сразу устроилось бы куда проще. Давно надо было прийти к нему. Чем она тут занималась? Экзамены! Он возмущенно фыркнул. Пусть она извинит его, но она плохая жена, он говорит это, любя Игоря. Она весьма осложнила дело. Иметь на руках такой козырь и отдать Сизовой! Попробуйте теперь заставить Сизову признаться! Не так-то легко. Три недели сидеть здесь, в городе, и палец о палец не ударить! Он ругал ее отечески сердито и проливал почти до слез.

Выйдя из отдела, она долго бесцельно кружила по заводу. Лицо ее было покрыто красными пятнами. Подлая она, ничтожная женщина. В сущности, это из-за нее Игорь поехал в деревню, стоило ей тогда отказаться... Она виновата, что

все так получилось, и, вместо того чтобы помочь ему, она тут развлекалась. Во что бы то ни стало она обязана вытащить его оттуда. Любой ценой! Она отвечает за него, за них обоих. Сейчас все зависит от нее. Она должна спасти его и себя.

Она отправилась в свое конструкторское бюро. Девушки окружили ее. Что с ней? Некоторые еще не видели ее после приезда. Как она там живет, как устроилась?

Как живет? Она рассказала, как мучается с хозяйством, какая там тоска, глушь, трудности. Она вспоминала сейчас только плохое: пусть знают, каково ей там приходится. Девушки сочувственно вздыхали и упорно допытывались: ну, а что же там хорошего? Ну, а как там все же, поддается? В их сочувствии Тоня уловила зависть, и даже смотрели они на нее с восхищением, как на героиню.

Вместе с Катей она отправилась в общежитие к Геньке и Семену. Друзья или нет? Друзья — так будьте добры, помогайте Игорю делом. Он там совершенно одичает. Он опускается. Для чего он копал техникум, там же ничего этого не нужно. Он теряет специальность. Она высмеяла Семена, когда он попробовал заикнуться про мастерские. Пещерная техника. Каменный век. Кое-что она тоже смыслит в производстве. Игорь расписывает свои мастерские из гордости, ему просто стыдно признаться.

Со злорадством и болью она рассказала им, что это за мастерские. Несчастной ветоши и той там не видели. Чертежной доски нет.

Генька слушал ее с хмурой подозрительностью. На языке у него вертелось вычитанное у какого-то путешественника выражение: «Иногда человек ругает или хвалит увиденное им место, то этим он больше характеризует самого себя, нежели то, что описывает».

Вмешался Чудров и торжествующе принялся дополнять описание Тони.

— Видишь! А ты, Генька, мне не верил! — приговаривал он.

Генька накинулся на него. Пусть он помалкивает. Он струсил и сбежал, а Малютин...

— Что Малютин? Вы его тоже небось тащить оттуда собрались.

Чуть было все не испортил этот парень, хорошо, что Тоня не растерялась. Какое право имеет этот Чудров сравнивать, Игорь — талантливый специалист, он свое открытие добровольно передал заводу... Она запнулась, взглянув на Семена. Но Семен, добрый, чудесный парень, он целиком стал на ее сторону.

— Игорь — благородный человек, — прочувствованно сказал он. — Это факт. Я и не знал, что ему так тяжело там.

Один Генька твердо стоял на своем. Ни Семен, ни Тоня не поколебали его. Почему Игорь какое-то исключение? Тысячи людей послали в деревню, они живут и работают. И там, в этом

Коркине, тоже не пустыня, испокон веков люди живут там. Поскольку надо, так где угодно можно жить. На Северном полюсе, на дрейфующей льдине! Какие есть причины у Игоря? Никаких!

— Ты функция какая-то, заразился от своей Веры, — сказала Тоня.

Это задело его, но он не уступал.

Но и Тоню теперь ничто не могло заставить отступить. Она возобновила разговор по дороге домой. Провожали ее все трое. Семен с Катей шли впереди, за ними Тоня с Геней.

— Бывает же, что специалистов, если необходимо, отзывают обратно, — доказывала Тоня.

Геня усмехнулся. Не такой уж Игорь незамеченный специалист.

— Замеченный или нет, а у твоей Веры без него с резцами на «Ропаге» никак не ладится.

— Давай без намеков, — рассердился Геннадий, — чего ты мне про Веру... При чем тут Вера! Не нравится мне твое настроение. Будь тут Игорь, мы бы с ним потолковали по-свойски. И договорились. Ты вникни, Тоня, это ж стыдно перед кем-нибудь, например, из наших стариков признаться: деревни испугались. А там кто живет — не люди? Ты сама рассказывала про Чернышева. Покрупнее фигура, чем вы с Игорем.

— А про Писарева я тебе тоже рассказывала?

— У того особь статья. Ты ж говорила — у него семейная драма.

Сердце ее внезапно застучало сильно-сильно. Не поворачивая головы, она искоса посмотрела на Геньку.

— И у нас... дойдет.

Он остановился. Она боялась встретиться с ним глазами, она видела только его изумленно-полуоткрытый рот, чистые, белые зубы.

— Ты что, серьезно?

Она не ответила.

— Ты? Ну, знаешь, это с твоей стороны... Игорь — другое дело, но ты, ты же сама... первая согласилась. Как же ты...

«Вот и хорошо, — сквозь страх и стыд мысленно твердила она себе, — пусть я буду плохой, пусть все свалится на жену. Все меня будут презирать, как презирают жену Писарева. Будут жалеть, оправдывать Игоря, и никто не узнает...» Слезы перехватили ее горло.

— Да, да, я не могу больше, — машинально повторяла она, женским сверхчутьем угадав, что на Геньку можно подействовать только этим. Ибо он тоже любил и знал цену счастливой любви, которая ему не досталась.

Он согласился поговорить с Верой. После Тони.

Он согласился, не представляя себе, откуда возьмет силы на этот разговор. Тоня и понятия не имела, что значило для него дать согласие. После комсомольского собрания весь завод узнал о его отношении к Вере Сизовой. Получилось

вроде признания с трибуны. Историю эту пересказали во всех цехах, даже на строительной площадке, где до сих пор никто не знал Геннадия. Встречая его, ребята и девушки обязательно считали нужным подмигнуть или сочувственно улынуться: несчастный влюбленный!

И кто — Геннадий Рагозин, который привык к вниманию самых красивых девушек на заводе и гордился своей неприступностью. Было от чего страдать! Жалость приводила Геннадия в бешенство, он предпочел бы насмешки. Втайне он начал подумывать, не уйти ли ему с завода. Завербоваться куда-нибудь и махнуть на север, на юг, не все ли равно. Веру он видеть не мог. Она стала совсем другая. Даже совещание у Логинова, полное оправдание ее и назначение руководителем группы не вывели ее из состояния тупого безразличия. Вначале ему казалось, что это болезнь, это от усталости. Постепенно он убеждался, что ее слова тогда, в технологической чертежной, были сказаны не зря, она все более укреплялась в своем равнодушии, словно и впрямь махнув рукой на все прежние принципы, уже ничему не веря и над всем отчужденно посмеиваясь. Вера стала ярко красить губы, нежное лицо ее погрубело. На комитет она являлась неаккуратно, сидела скучная, не выступала и, когда ее спрашивали, говорила: «А я как все, присоединяюсь».

...И Тоня тоже предпочла бы обратиться к кому угодно, кроме Веры. Просить эту «особу» было унижением. «Только ради Игоря, только ради него», — убеждала она себя, отправляясь в комитет, где они договорились встретиться. С чего начать? Как держаться? Она надела простое черное платье, потом накинула яркую косынку, чтоб не показаться приниженно скромной, затем сняла косынку, чтоб не выглядеть вызывающей.

К счастью, в комнате посторонних не было. Галя Литвинова где-то в углу шуршала бумагами, стучала на машинке, и никто их не слушал.

Вначале Вера разглядывала ее с бесцеремонным любопытством, затем глаза ее стали холодными, пустыми, и Тоня сразу почувствовала неловкость и бесцельность своих слов. Тоня все еще надеялась, что Вера спросит, как они там устроились, и тогда она рассказала бы о тамошнем житье, и Вера поняла бы, что она наделала. Встречая Тонию, все спрашивали ее об этом, и Вера обязана была спросить, но она молчала. Тоне пришлось начать самой. Было стыдно, противно и прежде всего несправедливо, потому что все случилось из-за Веры, а теперь Вера получила чертежи от Игоря и должна была хотя бы просто сказать спасибо. А она даже не поблагодарила. И то, о чем Тоня могла со слезами рассказывать своим подругам в КБ, не шло у нее с языка. Все ее самолюбие сейчас восстало,

заставляя держаться все более язвительно. Дело, конечно, не в бытовых условиях. Игорь и Тоня оба люди рабочие, не какая-нибудь капризная интеллигенция; и тут они не в роскоши жили, не у родителей за пазухой. Надо так надо. Плохо только, что Игорь теряет квалификацию, особенно горько, что ему не удастся участвовать в реализации своего автомата. Он так много вложил труда, так мечтал...

Вера по-прежнему молчала. Большие, без блеска глаза ее смотрели неподвижно, ничего не выражая.

Тогда Тоня напрямик спросила: используется ли предложение Игоря, все, что он прислал?

— Не знаю, — помедлив, задумчиво сказала Вера.

— То есть как не знаете? — возмутилась Тоня. — Вы смотрели? Годится оно? Или вы, может быть, станете доказывать, что оно не пойдет?

Болезненное движение прошло по лицу Веры.

— Допустим, пойдет, — медленно сказала она. — Что ж дальше?

— А то, что тогда надо Игоря вызывать.

— Возможно, — безучастно согласилась Вера. — Это уж дело не мое. Обращайтесь к директору.

Тоня ожидала чего угодно: насмешек, торжества, — но это холодное равнодушие было оскорбительней всего.

— А вы, значит, ничем не поможете? Используете спокойноенько его автомат и сделаете вид, что так и было? Здорово, честно? Да, Лосев правильно предупреждал меня. А я, чудачка, не верила ему. Считала, он клеветает на вас...

Вера усмехнулась, презрительно скривив губы. От негодования Тоня резко выпрямилась. Эта мумия смеет презирать ее! Голос ее зазвенел, напряженный до предела.

— Так вы отказываетесь помочь?

— Обращайтесь к директору, — спокойно повторила Вера.

— Понятно. Понятно, почему вы отказываетесь, — произнесла Тоня, уже не слыша своего голоса, а слыша только бешеный стук в висках. И вдруг торжествующе засмеялась. Она смеялась долго, успокоенно, громко, безжалостно оглядывая Веру, ее неуклюжую фигуру с худенькими ключицами, ее неумело накрашенные губы.

Прозрачное лицо Веры начало бледнеть еще сильнее. Тоня смеялась мстительно, победно. Они посмотрели друг другу в глаза, и мелкие ярко-красные пятна вспыхнули на щеках Веры. И хотя все было понятно, Тоня не удержалась:

— Бойтесь, как бы я в городе не осталась?

Вера судорожно усмехнулась:

— Вот видите, значит, не в моих интересах помогать вам.

Она изо всех сил пыталась изобразить эту самую циничную, неуживимую ссору, но Тоня только

смеялась: не так-то легко ее обмануть, она попала прямехонько в цель. Она встала, расправила на груди косынку, ликующая, жалея лишь о том, что не надела свое зеленое платье с вырезом.

...Катя, выслушав подробности об этом свидании, трезво поинтересовалась результатами, на чем договорились.

— Ни на чем, — вздохнула Тоня. — Но факт, что она использует автомат Игоря. Ух, какая дрянь бесчеловечная! Ничего, зато она запомнит меня! И чего Геняка нашел в ней?

Решено было, что, поскольку Вера, как она сама призналась, использует разработку Игоря, есть все основания обратиться к Логину.

В этот день Геннадия вызвали отрегулировать пускатель, установленный на «Ропаге».

Новенький пускатель пахнул лаком, краской и той особой, прохладной свежестью, какой пахнут все новые вещи. Геннадий подтягивал контакты, пластины гудели, то сердито вибрировали, то успокоенно отзывались на малейший поворот винта. Перед ним стоял пускатель, совсем молодой, еще неуклюжий, неумелый, капризно-неприрученный, со своим характером, в котором еще надо было разобраться.

Геннадий заулыбался. Внезапно его охватило великолепное ощущение собственной силы и значимости. Он был той последней инстанцией, где завершался труд Веры Сизовой. Да и не только ее, но и Колесова, и конструкторов их группы, электриков, исследователей. Перед ним возникла длинная цепь усилий разных людей: инженеров, ученых, расчетчиков, — цепь, в которой он был заключительным звеном. В итоге все кончается этими рабочими руками, серыми от железных опилок руками слесарей, блестящими от масла руками наладчиков, руками монтеров, пропитанными смолистым запахом. Вот его руки, вот машина. И больше никого между ними. Один на один он вступал в конечный поединок с норовистыми моторами, с путаницей монтажных проводов, с капризными маленькими реле. Это из-под его рук линии, вычерченные на бумаге, превращались в осязаемые медные шины. Наполнялись гудом сердечники. Становилась теплой тугая обмотка катушек. Он соединял провода, паял, чистил, включал. Ток заполнял аппаратуру. Стоило чуть-чуть раздвинуть контакты, и затанцовывший ток обнаруживался, его можно было увидеть, ткнуть в него отверткой. Он был живой, и Геннадий тревожил его, умирал, поддразнивал, озорно заставляя выдвигаться золотой фырчащей дугой.

Ему нравилось работать руками. Нравилась скрытая опасность этой работы, волнующее соседство высокого напряжения. Тревожные запахи горячей изоляции. Грозная свежесть озона.

Нравилось властвовать над электричеством, которое многим внушало страхи. Он изучил его хитрости. Каждодневные схватки требовали непрестанной настороженности. Обманчивая тишина

в коридорах подстанции поглощала все его внимание. Он улавливал легкую дрожь шин, сдержанный гул трансформаторов, выключателей, внешне бездейственных. Отсюда, из этой тишины, рождалось движение прокатных станов, стрекот компрессоров, в цехах были воздухоудвиги, ухали молоты... Проверяя троллей на крановых путях, Геннадий, глядя вниз, в цех, как никогда чувствовал себя хозяином всего этого движущегося, работающего металла. Люди нажимали кнопки, включали прессы, пускали станки и считали само собой разумеющимся, что идет ток, есть напряжение; никто не размышлял, каких усилий стоит эта постоянная готовность энергии. Заводской монтер, Геннадий в любом цехе имел моторы, контроллеры, кабели, контакторы, — и повсюду его хозяйство было главнее. Он чувствовал себя главным человеком на заводе, двигателем.

Защелкали контакты, включился мотор. Геннадий присел на корточки, прислушался, пощупал подшипники двигателя, потрогал щетки, и вот тогда-то, сидя на корточках перед мотором, он увидел Веру. Она подошла вместе с технологом, мастером участка, вместе с Ипполитовым и встала совсем рядом. Он увидел ее сильные, красивые ноги в коричневых туфлях на тонком каблучке, в светлых чулках, подол ее халата, а под ним — краешек клетчатой юбки. Он узнал Веру, увидев только ее ноги. Где-нибудь в другом месте Геннадий поспешил бы уйти, отвернулся бы и ушел, но тут, окруженный своими моторами, соленодами, он чувствовал себя уверенно, поднялся как ни в чем не бывало, начал обсуждать вместе со всеми схему пускателя, спокойно смотрел на Веру, слушал ее и что-то отвечал. Пока инженеры рассматривали синьку, он как бы невзначай спросил у Веры про Тоню Малютину:

— Приходила? Ну, и как ты, поможешь?

— А зачем мне это нужно? — спросила Вера. Она посмотрела в сторону Ипполитова и с тихой, холодной улыбкой повторила: — Зачем мне это нужно, ты можешь объяснить?

И он почувствовал в ней нечто похожее на угрожающую дрожь включенного высокого напряжения, когда самый воздух кругом насыщен электричеством. И в ответ в нем тотчас возникло привычное, профессиональное спокойствие.

— Государственный подход, — насмешливо сказал он.

— Только так и следует рассуждать. Единственно оправдавший себя метод, — верно, Алексей Иванович? — обратилась Вера к Ипполитову.

Геня не понимал, к чему она вовлекает в их разговор Ипполитова.

— При чем тут твои интересы? — угрожающе начал Геннадий.

Она слушала его цинично спокойно. У нее было множество предлогов уклониться от разговора: к ней обращался технолог, она что-то пока-

зывала на чертежах — и всякий раз с любопытством возвращалась и напоминала Геня:

— Что же дальше?

— А как вы считаете, Алексей Иванович? — спросила она вдруг у Ипполитова.

Он замаялся под пристальным взглядом обоих и вдруг улыбнулся вкрадчиво и обрадованно:

— Я полагаю, Вера Николаевна, вы и сами превосходно справитесь. Стоит ли нам лишать деревню ценного работника?

Вера весело оглядела Ипполитова.

— Слышал точку зрения старших товарищей? — сказала она Геня.

Ипполитов с озабоченным видом обернулся к инженерам.

Вера удовлетворенно усмехнулась и ушла.

Геняка догнал ее в полутемном проходе за контрольным участком, схватил за руку, грубо повернул к себе.

— Ты с ума сошел? Пустяки, я занята!

— Мне плевать. Подождут.

Она остановилась.

— Вера, ты можешь, конечно, мне назло, потому что прошу я. Но я не за себя... Я бы для себя к тебе не обратился. Будь уверена. Ты пойми, как все это серьезно для Малютиных. У них все разорвется. Люди из-за тебя несчастными станут. Шутка ли, семью разбить. Тебе нельзя их в такой момент отталкивать...

— Вот как! — Она с интересом посмотрела на Геню. — Что же, Тоня не хочет возвращаться к Игорю?

— Не знаю. Им там очень тяжело. Нельзя доводить их до этого.

— А здесь что, очень легко? Разве что таким, как Тоня. — Она тихо, зло засмеялась.

— Прекрати! — крикнул он. — Игорь отдал тебе свое предложение без всяких условий. Ты используешь — ты обязана помочь ему. Иначе будет несправедливо. Тебя заподозрят... Если ты думаешь, что он Тоню просил, — чепуха! Тоня сама, я тебе ручаюсь.

— Ты уверен?

— Я тебе его письмо покажу.

— Чье? — удивилась она.

— Игоря.

— Да я не о том. Ты уверен, — она запнулась, — ты уверен, что я использую его предложение?

— А что, оно не годится?

— Не знаю, — протянула она.

Геня рванул ее за руку.

— Не финти! Чего хитришь? Как тебе не стыдно! Какой ты стала!

Она наклонилась к нему так, что он почувствовал ее дыхание и увидел совсем рядом огромные, блестящие глаза на бледном лице.

— Хитрю и буду хитрить. Так же, как Ипполитов и Лосев. Им разве плохо? Они хитрят, приспособляются и всегда в выигрыше. Они всегда

правы. А если кто от этого страдает, какое им дело! И как бы вы ни старались, в общем-то их не одолели. Значит, они сильнее.

— Ты это серьезно?

— Вполне, и я себя отлично чувствую. У меня прекрасные учителя.

— Они учителя! Тогда ты... Ты такая же гадина, как они! И я еще... Ты мне и даром не нужна такая. Теперь-то я справлюсь с собой. Не то что любить тебя... Ты дрянь, настоящая дрянь...

Вера широко усмехнулась.

— Ну, вот и договорились.

Он смотрел, как она уходила, на ее напряженно выпрямленную спину, ровную походку, на ее ноги. Воздух стал душным. Геннадий открыл рот, часто и жадно дыша, ему хотелось что-то закричать, схватить Веру за плечи, прижать к себе. Но он словно одеревенел. Он не мог пошевеливаться. «Не может быть, не может быть», — тупо и больно толкалось в голове, разрывая, раскалывая ее. Механически, ничего не понимая, ни о чем не думая, Геннадий вернулся к пускателю и долго стоял в страшном изнеможении от заполнившей все его существо тоски и боли. И опять он бессмысленно повторял: «Не может быть», — с отчаянием, заглушая в себе мучительное понимание всего случившегося, которое было чудовищным, потому что в нем страшно соединялось ненавистное и любимое, то, без чего он не мог, и то, что он сейчас навсегда уничтожил. Он включил пускатель, стиснул гудящую катушку, не обращая внимания на ток, дергающий пальцы. Если бы у него под рукой были не эти двести вольт, а тысяча, он мог бы схватиться за голые шины и ничего не почувствовать.

Сотрудники ушли домой, и Вера осталась одна в тесной, заставленной чертежными досками комнате группы автоматики. В раскрытое окно доносился мерный шум завода, шум без дневного, пульсирующего напряжения — успокоенный, сосредоточенный шум малолюдных цехов вечерней смены.

На одной половине стола Вера аккуратно разложила эскизы из папки Малютина, на другой — собственные чертежи.

Ну что ж, с точки зрения истории техники такое совпадение было закономерным. Многие, даже крупнейшие изобретения возникали почти одновременно. Идеи носятся в воздухе. Случайность есть проявление необходимости. Патентная заявка на телефон, как известно, поступила от двух изобретателей с разницей в два часа. Сколько открытий происходило независимо друг от друга в один и тот же год в разных странах! Взять радио или турбину. А ядерная энергия?.. Вполне естественно. Как полезно хорошо знать историю!

За исключением некоторых частностей, в ее чертежах полностью повторялась идея Малютина. Другая детализировка, другие размеры, а в основном принцип тот же, все сходится.

И представить себе, сколько она билась, пока добралась до этого автомата! Ей и в голову не приходило менять резцы, она всячески пробовала использовать систему регулирования, возилась с обратными связями, пыталась установить теоретическую зависимость, пересмотрела сотни журналов, наконец где-то натолкнулась на систему с двумя резцами. И постепенно добралась. Вымучила. У Малютина была находка, внезапная догадка, счастливая случайность, когда вдруг почему-то совершенно иначе увидишь такой же станок, или чертежи, или даже какую-то совсем другую машину — автомобиль, пылесос, что угодно, — и трах! Словно ударит... Ей тоже выпадали такие счастливые нечаянности. Их не сравнить с тем, как выстрадала эту схему она. Почему ж она должна признать Малютину автором, отдать ему свою работу? Потому, что он додумался раньше? Но ведь он не отдал этого. Если бы он, узкая, передал свой автомат, «Ропэг», может быть, уже работал бы на программнике. И многое страшное из того, что случилось, наверное не произошло бы. Во всем виноват он, Малютин. А теперь, когда она своим потом, кровью дошла, добралась, он, видите ли, совершает благородный поступок, и она, Вера Сизова, должна остаться в стороне, объявить его автором и хлопотать, чтобы его вызвали на завод.

Лосев будет торжествовать: как же, он предупреждал, сигнализировал, — смотрите, как Сизова обанкротилась...

А если она отложит схему Малютина? Возьмет и отложит, заявит, что схема негодная? Найдет какую-нибудь ошибку и докажет. Ведь все можно доказать.

Вера углубилась в бумаги. Перебирала эскизы Малютина, расчеты, сделанные наспех на вырванных из клетчатой тетрадки листах. Строки, написанные чужой рукой, чужим почерком; мелкие цифры, карандашные чертежики карикатурно повторяли ее собственное; они выглядели отвратительно, словно наспех, воровато списанные, украденные у нее. Ага, не та марка стали! Не тот профиль! Нет, это мелочи, чепуха! Господи, найти бы какую-нибудь настоящую оплошку, что-нибудь существенное! К чему-нибудь прицепиться. Она бы все простила Малютину, если бы он ошибся. И тогда ей больше ничего не нужно.

Ужасное беспокойство ее по мере приближения к последней странице возрастало, заставляя возвращаться назад, медленнейшим образом пересматривать все снова и снова, лишь бы оттянуть наступление конца, когда у нее не станет больше ни свободы рассуждать, ни воли искать выход. Так и не решившись перевернуть последнюю страницу, Вера с иступленной злостью сгребла все

эскизы Малютина, схватила его тетрадь и принялась их комкать. В это мгновение ей показалось, что в комнате ходят. Она испуганно прислушалась, огляделась. Серый, толстый кот, выгибая спину, терся о ножку стула. Ей стало мерзостно от собственного испуга. Глядя на кота, она вдруг вспомнила Лосева. У него была такая же круглая кошачья физиономия с острыми ушами. Усмехаясь, Вера наклонилась и погладила кота. Конечно, Лосев ей не поверит, ни на одну секунду не поверит, что она сама додумалась. Но ведь и никто, никто ей теперь не поверит. Неужели она когда-то искренне считала, что главное — доказать Лосеву прогрессивность созданной схемы? Каким же глупейшим, наивным существом была она!..

Кот мурлыкал, подняв пушистый хвост.

Со двора донеслись голоса. Такелажники что-то кричали крановщику. Вера вздрогнула, выпрямилась, с отвращением отдернула руку от кота и закрыла глаза...

Это произошло несколько дней назад, когда испытывался программник на «Ропэге».

В момент пуска Вера не выдержала, отвернулась, зажмурилась.

Когда она открыла глаза, станок уже работал.

Люди стояли поодаль. Никто не касался кнопок, переключателей. Станок остался один. Вертелась заготовка, и станок все должен был решать сам.

Оцепенев, Вера следила за движением резцов. Выточив нужный диаметр, резец отошел и остановился в неподвижности. Станок словно задумался. Суппорт сбивчиво дернулся вверх, потом чуть вниз и снова неуверенно замер. Вера почувствовала, как холодеет спина. Неловко, изо всех сил она прижала кулаки к груди, удерживаясь, чтобы не кинуться на выручку. В эти изнуряющие мгновения огромный станок стал для нее ребенком, ее собственным ребенком. Он звал о помощи, он ждал ее.

И вдруг произошло что-то удивительное и чудесное. Она почувствовала это на мгновение раньше, чем резец осторожно скользнул вниз и решительно и точно перешел на новый профиль.

Это выглядело чудом. В этом было нечто таинственное, сверхъестественное. Именно эта заминка, по-детски беспомощная неуклюжесть сделала для Веры станок одушевленным. Все, что до сих пор существовало в ее сознании в виде схем, отдельных узлов, усилителей, датчиков, все это вдруг слилось в единое живое существо. В нем действовал разум, который она вложила в него. Ее собственный разум. Ее мысли превращались в движения стальных масс. Сама она неподвижно стояла в стороне, а станок действовал так, будто там, в сером эмалированном кожухе, помещался

ее мозг; он подавал команды, рассчитывал, заготавливал, проверял. Не существовало никакой пленки с записанными импульсами, которые поступали через сложную схему в моторы. Движения станка, казалось, повторяли ее собственные жесты; она узнавала свои желания, себя, Колесова, Абашвили. По их бледным, застылым лицам она поняла: они переживают то же самое. Они вдохнули в этот металл частицу своей души, и он ожил.

Потрясенная, она смотрела на дело их рук.

Что бы теперь ни случилось, оно останется жить. Изменится конструкция станка, от этой примитивной автоматики перейдут к полной, можно будет обрабатывать любой профиль, но и тогда, через много лет, в тех совершенных, огромных станках сохранится ее материнская доля.

Нет, она не тешила себя мыслью, что кто-то станет вспоминать именно ее, Веру Сизову. Ведь и она, работая сегодня с радиолампами, моторами, не вспоминала тех сотен людей, которые создали их вот такими. Но они жили, души этих людей, в алом накале ламп, в движении тысяч моторов. Человек смертен своими неудачами и опасениями, бессмертен своими желаниями и трудом.

Она любовалась «Ропэгом», позабыв о трудном годе неустанной работы, поисков, о всех своих разочарованиях, обидах, приступах отчаяния, о своих наивных мечтах, связанных с этой работой, о бесконечных вечерах, отданных опытам, наладке, о ссорах с Лосевым, о разрыве с Ипполитовым.

Она видела только станок.

Ради этой минуты стоило пережить все то, что она пережила.

Она видела будущее. Тысячи таких станков. Целые цеха, оборудованные программным управлением. Люди запишут на карточку необходимые операции, вложат в программник, и станки все выполнят сами — точно, быстро, экономно...

Перед лицом этого будущего все ее горести и обиды показались ей мелкими и ничтожными. Да и он жил уже, ее станок, и он мог постоять за себя и защитить ее. Ее воля, сила были умножены теперь на силу его моторов, на крепость его стальных мускулов.

Вера открыла глаза и посмотрела на скомканные бумаги.

«Что же это? Что же это я?» — забормотала она, торопливо разглаживая, расправляя листки. «Дрянь, дрянь», — она повторяла это слово, ухватившись за него с какой-то безотчетной надеждой. Придвинув малютинские бумаги, она поспешно переносила туда из своей тетради поправки, переписывала размеры. Закончив, положила папку Малютина в ящик, взяла свою тетрадь, чертежи и стала быстро рвать. Она склады-

вала, рвала, снова складывала и снова разрывала в мелкие кусочки и с каким-то невыразимым наслаждением отчаяния швыряла обрывки в корзину.

Назавтра с утра Вера отнесла папку Малинина и докладную на имя Логинова в дирекцию.

Выйдя из заводоуправления, она обессиленно опустилась на скамейку в скверике у бетонной русалки. Некоторое время она сидела, прислушиваясь к себе, не понимая, что с ней происходит. Не было ни мыслей, ни желаний, внутри осталась какая-то безжизненно мертвая пустота. Вера достала зеркальце, подпудрилась, жирно намазала губы. Лицо ее напоминало ярко раскрашенную маску.

Существовало нечто неясное и от этого томительно-тревожное, что она должна была вспомнить.

Она вернулась к себе. Когда она подходила к столу, ей бросилась в глаза пустая мусорная корзина. И вдруг знобкий ужас перед случившимся прохватил ее всю, с головы до ног. Она рванулась к столу, выдвигая ящики, перерывая лихорадочно все в поисках черновиков. Что она наделала! Как же теперь доказать? Так никто и не узнает. Как она могла? Зачем, зачем ей это было надо? Ведь она, она тоже создала такой же автомат, она сама, сама, без Малинина. Неправильный ужас случившегося привел ее в смятение. Несколько жалких набросков, отрывки первоначальных расчетов... Теперь, на людях, вчерашний поступок казался ей нелепой выходкой. Что заставило ее?.. Не оставить ничего, никаких доказательств!.. Как она могла!..

Страстная жажда кому-то немедленно рассказать обо всем охватила ее, жажда куда-то кинуться, бежать, найти того, кто понял бы и поверил ей. Если бы она не скрывала от Колесова, от остальных... Неудачи обозлили ее, и все последние попытки она держала в секрете. Они — слабые парни, но сейчас они не поняли бы ее, слишком много надо объяснять, а сейчас она не могла много говорить. Больше же всего она страшилась прочесть в чьих-либо глазах недоверие.

Сунув в карман эти несколько жалких листков, она отправилась в электромеханический. Геннадия там не было. Она побежала в литейный, оттуда в термический. Он только что ушел оттуда. Возле щита торчали концы расплетенного кабеля, и на ограждении висела табличка: «Стой! Высокое напряжение». Вера бежала по двору, отыскивая глазами знакомую куртку. Все сговорились против нее. Солнце слепило глаза. Кто-то здоровался, и она должна была что-то отвечать. На переезде ей преградил путь бесконечный железнодорожный состав. Платформы лязгали, держаась то в одну, то в другую сторону. Вера вскочила на площадку тамбура, перебежала, спрыгнула на ходу.

В комитете, в комнате Шумского, она застала Юрьева. На столе перед ним сверкали металлом две модельки новых насосов, заказанных заводу. Среди ребят, окруживших Юрьева, она увидела Геннадия. Он обернулся к ней, и остальные тоже обернулись.

Вера опустилась на диван.

— Иди сюда, смотри, какие лопатки! — позвал ее Костя Зайченко.

— Что с вами, Вера Николаевна? — наклонился к ней Юрьев.

Было бы ужасно, если бы они сейчас принялись ее расспрашивать. Но в это время Шумский взял модельки и сказал Юрьеву:

— Владимир Юрьевич, лучше бы собраться у вас, вы тогда и Леонида Прокофьевича пригласите.

И решительно направился к дверям, подталкивая остальных. На ходу он что-то буркнул Геннадия, и тот остался. В коридоре Юрьев с усиленной пристальностью посмотрел на Шумского.

— Умница. Нет, право, ты просто молодец. — И с задумчивым удивлением покачал головой.

Встретив твердый, отталкивающий взгляд Геннадия, Вера вдруг вспомнила все то безобразное, что произошло между ними вчера, и слабо и обессиленно поразились, как она могла забыть об этом, зачем она бежала, искала Геннадия. Но остановиться и заставить себя молчать у нее не было сил, и, уже рассказывая, она с каким-то мстительным удовлетворением думала: вот и хорошо, тем лучше, что она все это говорит ему.

Он слушал ее, хмурый, жесткий, пружинно-сжатый.

— Ты мне веришь? — спросила она. — Вот у меня осталось несколько черновиков.

Она умоляюще протянула ему скомканные бумажки.

— Вот смотри. Здесь была уже общая идея.

Он пожал плечами, не спуская с нее глаз.

— Но ты мне веришь? Или ты просто так? Ты действительно веришь? Мне это очень нужно. Я сама не знаю, зачем. Чтобы хоть один человек знал.

Он кивнул и, не разжимая губ, заверяюще тронул ее руку.

И она вдруг почувствовала, что никому другому она не хотела и не могла бы признаться и ни от кого другого, кроме него, не нужно было ей получить этого заверения. Что-то неудержимо-благодарное скользнуло от нее к нему и вернулось к ней, понятое и обожженное скрытым волнением.

— Ну, ладно, — в замешательстве сказала Вера.

Геннадий хотел что-то сказать, но она опередила его.

— Ты думаешь, я это ради тебя сделала? Как бы не так! Я просто хотела... Тоня считает, что я ревную ее к Ипполитову, так вот, чтобы не ходили такие сплетни... — Она подождала и грубо засмеялась: — А может, это всего-навсего очень ловкий ход. Как по-твоему? А ты-то, конечно, бог знает что подумал. Не тут-то было! Обрадовался, ну, скажи, обрадовался?

Он стоял перед ней уже совершенно спокойный, только синие жилки вспухли на висках, и смотрел на нее так, что горячо и стыдно покраснели ее лицо, шея, плечи, и она чувствовала это. Потом он вздохнул и вышел, осторожно и плотно прикрыв дверь.

Вера вытерла ладонями потный лоб.

— О чем это я?.. — растерянно сказала она вслух.

И вдруг слезы покатались по ее щекам. Она не сдерживалась, содрогаясь и всхлипывая от рыданий, не представляя себе, что от слез может быть так хорошо, как будто вместе со слезами она освобождалась от чего-то тяжелого, скверного, скопленного за все эти месяцы. Она медленно шла вдоль длинного стола заседаний, гладила кумачовую скатерть, закапанную чернилами, и не было для нее сейчас ничего дороже вот этого стола, этого комитета, ребят, гудящих в соседней комнате, Геньки, который, она это чувствовала, стоит там, за дверью... Слезы бежали из ее больших, широко раскрытых глаз; она не понимала, о чем она плачет и почему она счастлива, если она плачет. Она видела эту комнату и завод там, за распахнутыми окнами, и весь мир таким, каким она никогда раньше его не видела: со всеми его красками, солнцем, теплом, со всеми его истинными радостями и бедами, истинной любовью и ненавистью. И этот истинный мир был прекрасней всего того, что она до сих пор представляла себе.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Под вечер Игоря вызвали в контору, звонил Пальчиков: за Левашинами у Лены Ченцовой авария с трактором.

— Ночь работать собирались, — сказал Пальчиков. — Ты же понимаешь, каждый час дорог, и вот тебе на.

Как назло, у Игоря все ремлетучки были в разгоне.

— А где бригадир? Посадили девчонку на ночную работу. Она ж первый сезон! — возмущился Игорь. — Чем вы там думаете?

— Это ваша забота! — закричал Пальчиков. — Режете нас без ножа! Понадеялся я на тебя, послушался. Помнишь, клялся, уговаривал: не покупайте, мол, саялку и никакого инвентаря. Я, дурак, поверил в вашу технику.

— Не такой уж ты дурак, каким представляешься. Жатку-то я твою видел, — беззлобно

отругивался Игорь, размышляя, что делать, кого послать. И вдруг он сообразил, что это за трактор. Это был один из тех «КД», у которых ему так и не удалось усилить ходовую часть. Он догадывался, что произошло.

— Какой-то подшипник рассыпался, — подтвердил Пальчиков. — Ченцова сообщила через прицепщицу, а та толком не разобрала.

— Ладно, поеду сам, — сказал Игорь.

Пальчиков принялся объяснять дорогу: за старым овином свернуть на проселок, там с пригорка будет виден костер возле трактора.

— Так я в надежде, Игорь Савельич.

— Еще бы, — сказал Игорь, — ответственность возложил, теперь можешь спать спокойно.

Оставался самый ветхий «драндулет» — скрипучий, расшатанный «газик». На каждом ухабе его фанерный, перелатанный кузов жалобно охал. По дороге машина два раза глохла, и в Леваши Игорь добрался поздно вечером. Колхозный бригадир, однорукий парень, вызвался проводить, но Игорь пожалел его. «Ничего, сам доберусь», — решил он.

За околицей его затопило мгlistым туманом. Игорь ехал медленно. Завидев черное пятно овина, он остановил машину, сошел, отыскивая проселок. Свернуть на луг мешала канава. На таком «драндулете» можно основательно засесть. Игорь заглушил мотор, достал сумку с инструментами, сунул туда подшипник, сальники, все, что могло пригодиться, и, взвалив тяжелую сумку на плечо, отправился пешком. «В крайнем случае, если понадобится, Лена сбегает к машине. Может быть, есть какой-нибудь объезд, тогда подгоним летучку». Тот ли подшипник он взял? Он вдруг усомнился: «Почему обязательно наружный? Почему не конический?»

Луны не было. Росистая трава поблескивала, будто светилась собственным светом. Высокая между наезженными колеями, она сочно и как-то вкусно хрустела под ногами. Вдали сквозь туман крохотным багровым пятнышком забрезжил огонек костра. Игорь решил махнуть напрямик, через пашню. Где-то впереди должен быть овраг. «Ну, ничего, перелезем, тем интересней». Зимой они здесь катались на лыжах. Лихо он крутил тогда между соснами! Перед ребятами старался показать себя. Нет, настоящая храбрость не нуждается в зрителях.

Продравшись сквозь колючий кустарник на краю пашни, он остановился перед склоном, уходящим в глубину оврага. Там было непроглядно и тихо, как в ущелье. Эх, была не была! Придерживая тяжелый, неудобный мешок, он стал спускаться. Склон забирал все круче. Трава скользила под мокрыми подошвами, заставляя бежать. Чтобы не упасть, он расставил ноги, пробуя катиться на подошвах, как это они делали в Кавголове на снежных горах. У горнолыжников это называется глиссировать. Тоня неплохо умела

глиссировать. Будь она дома, он взял бы ее с собой в эту ночную поездку, и они бежали бы сейчас наперегонки по травяному склону, и Тоня что-нибудь кричала бы или пела. Улыбаясь, Игорь побежал быстрее, ощущая встречный ветер и ту удивительную легкость, когда кажется: стоит раскинуть руки, и можно взлететь на воздух. Вдруг нога ощутила пустоту, потом удар; он поклатился кувыркном, выпустив мешок, оставляя позади грохот рассыпанного инструмента. Он ткнулся лицом в землю, тут же попробовал вскочить и не смог, не понимая почему. Сидя на земле, он окупал правую ногу и вдруг со страхом и отвращением почувствовал, как нога мягко прогибается где-то посередине между коленом и ступней. Не веря себе и все еще не понимая, он стал поднимать ногу, но ступня, свернутая набок, не отрывалась от земли. И только тут пронзительнейшая боль захлестнула его сознание.

Когда Игорь очнулся, он лежал боком, скрючившись; тело его само нашло наиболее удобное положение. Теперь боль не отпускала его, но стоило ему пошевелиться, как, еще усиливаясь, она пронизывала его всего. Обезумев от этой невыносимой, дикой боли, Игорь закричал, скребя ногтями землю.

Нигде ни отзвука, даже эха не слышно. Осторожно, стараясь не шевелить сломанной ногой, он огляделся, пошарив вокруг себя руками, нащупал большой, с острым выступом камень, похожий на наковальню. Понеслась коробку спичек. Ему захотелось осмотреть ногу. Наткаясь на жгучую крапиву, он вошел по земле руками, но вместо спичек попадались оброненные прокладки, болты, и он машинально подбирал их. Охая и отчаянно ругаясь, отыскал большой разводной ключ, снял с себя ремень и попробовал привязать ключ к ноге. При первой же попытке боль свалила его на землю. Он стиснул кулаки, чтобы унять дрожь в руках. Некоторое время он лежал, собираясь с силами, затем принялся выправлять ступню, приказав себе не обращать внимания на боль. Ему казалось, что он слышит, как острые края поломанной кости трутся о мышцы, друг о друга, и этот скрежет приводил его в ужас. Он понимал, что, если сейчас не привяжет ключ к ноге, у него не хватит сил начать сызнова. Пот заливал его глаза. Он не представлял себе, какой нестерпимой, поглощающей все силы может быть боль.

И все-таки он справился. Вряд ли такая шина могла сколько-нибудь помочь, но от сознания, что добился своего, ему стало легче. Несколько минут он отдыхал, прижавшись лицом к холодной, мокрой траве. Потом, подхватив ремень сумки, пополз наверх. На краю оврага осмотрелся, отыскал глазами далекий огонек костра и понял, что кричать бесполезно: не услышат. Опираясь на локоть, он пополз, стараясь продвигаться боком, чтобы не цепляться дереломанной ногой за землю. Опять

потянулась пашня. Локти уходили в мягкую землю, впереди под руками земля была утомительно рыхлой, а позади борозды казались каменно-твердыми, и нога подпрыгивала на них. Все его ощущения сосредоточились в этой немыслимо тяжелой, огромной ноге.

После первого же десятка метров Игорь убедился, что не выдержит и лучше всего вернуться назад, к машине; до нее гораздо ближе, он заберется в кабину, положит ногу на сиденье, начнет сигнализировать, дождется какой-нибудь встречной, его отвезут в больницу. Через час-полтора он уже будет в больнице, ему впрыснут какой-нибудь наркотик, и он перестанет чувствовать эту проклятую ногу. Главное, ему не надо будет двигаться.

Уговаривая себя вернуться назад, он продолжал ползти в полном отчаянии от бессмысленности своих усилий. Было что-то, что, не отвечая на все его уговоры и доводы, не отвечая на боль, заставляло его, закусив до крови губу, двигаться вперед, и он почему-то вынужден был подчиняться этому неумолимому, странному, неизвестно кем отданному приказу.

Время от времени он ложился отдыхать; огонек костра исчезал, и тогда Игорь оставался один перед слитой воедино тьмой земли и неба. Он стонал, чувствуя свою затерянность и беспомощность в этой бесконечной, черной пустыне. Где-то, недалеко у костра, грелась Лена Ченцова; может быть, она даже спала, подстелив ватник, может быть, болтала с прицепщицей. Горькая обида смеялась негодованием: ну и распушит же он ее, когда доберется до трактора! Но Тоня, Тоня, почему она не чувствует, как ему сейчас плохо? Она спит и не думает о нем. Как она смеет сейчас спать? И Пальчиков не тревожится о нем, и никто, ни один человек знать не знает. Но Тоня, Тоня, она-то обязана знать, что с ним...

Стертая на руках кожа горела. Сумка, брэнча, волочилась по земле, становясь все тяжелее. Он собрался выбросить тяжелый торцовый ключ, но это был новенький ключ, и Игорь пожалел. Приподнимаясь на руках, швырял сумку вперед и, хрипя, ругаясь, полз к ней, снова швырял и снова полз. Единственное, к чему невозможно привыкнуть, — это боль. Сейчас он готов был согласиться, чтобы ему отрезали ногу. Только что он бежал, здоровый, сильный, и вот какая-то нелепость, и он ползет, крича, ругаясь, жалкий, беспомощный.

— На кой шут ползти к трактору! Дурость тут, а не геройство. Мало ли аварий. Пропади они пропадом со всеми подшпишниками! Провались и сумка и ключи. К черту! Все к черту!

Он почувствовал, что у него не хватает сил швырнуть проклятую сумку. Значит, дошел до точки. Еще бы немножко. Хотя бы тридцать метров. Чтобы не заплакать, он принялся издеваться над собой. Ничтожество... Еще назывался физкультурником, спортсменом! Подумаешь, страсти какие: нога сломанная! Сколько ребят каждое

лыжное воскресенье ломает ноги в Кавголове, и ничего, никаких истерик...

Но и это не помогало. И вот тогда он сказал себе: этот трактор стоит из-за тебя. Очевидно, погнулась старая рама, и подшпишник рассыпался. Если бы ты не струсил перед Кисловым и Писаревым, раму бы заменили. Ты струсил, ты виноват в аварии, ты должен доползти, иначе останешься трусом и подлецом. Если ты этого не сделаешь, ты навсегда останешься ничтожеством. Ты сам виноват во всем, и ногу ты сломал потому, что трус. Если бы ты не струсил тогда, то не было бы аварии, и не нужно было бы ехать, и ты бы не сломал ногу. Ты просто трус, жалкая тряпка, дерьмо, а не человек. Хорошо, что Тони нет здесь. Она презирала бы тебя.

Он привязал сумку к здоровой ноге и пополз дальше, прямо на приближающийся свет костра. Больше он не давал себе передышки, не стонал, он остервенело и молча работал, словно поворачивая на себя всю эту огромную, черную землю.

В метрах ста от костра он попытался крикнуть. Хриплый голос вяло рассыпался где-то рядом. Игорь в ярости погрозил кулаком лохматому, теперь уже ясно видимому огню. Внезапно ему явилась счастливая мысль. Он обтер пальцы, сушил их в рот и засвистел неистово, с перекатом, как когда-то свистел мальчишкой.

— Эй, кто там? — донесся к нему голос Лены.

Он снова свистнул.

— Давай топай сюда! — закричала она.

Игорь лег и закрыл глаза. Травы колола ему щеки. Пахли какие-то невидимые цветы. Нудно и тонко, все сильнее звенели комары, где-то рядом, перед его лицом, прошуршала ящерица.

Лена приближалась, обрадованно аукаясь. Он крикнул, чувствуя, что не в состоянии шевелиться. Лена бежала, что-то мурлыча, прерывая это мурлыканье криком: «Игорь Савельич, да где же вы?» — и опять пела, посасывая эту песенку, как леденец.

Ему пришлось обнять ее за плечо, и она почти потащила его на себе.

— Да как же это, батюшки! — причитала она над ним совсем по-бабьи. — И рубашку порвали.

Он все пытался рассказать ей, а она охала и твердила про рубашку.

Игорь лег у костра. Лена подложила ему ватник. От испуга у нее дрожали губы. Вид у Игоря действительно был страшный. Пламя освещало измазанную землю, зеленью, протертые до дыр штаны. Игорь лежал прикрыв глаза, бледный, и бил кулаком о землю. Его раздражала невозможность в присутствии Лены как следует выругаться. Не испытывая стыда, он позволил ей подтянуть штаны, вытереть лицо. Она хотела бежать в деревню. Он остановил ее.

— Что с трактором?

Она наспех рассказала. Все так, как он предполагал: погнулись ланжероны, затем полетел

подшпишник. Прицепщицу Лена послала к Пальчикову, и та еще не вернулась.

— Погоди, — сморщился Игорь.

Он не хотел, он боялся снова остаться наедине с болью. Лена помогла ему повернуться, поправила волосы. На минуту он закрыл глаза, и ему почудилось, что возле него сидит Тоня и это ее прохладная ладонь гладит его лоб.

— Очень больно?

— А ты как думаешь!

— Я этот вредный овражек знаю, — сказала Лена. — Он рядом с дорогой. Чего ж вы сюда ползли?

— Чего, чего! — пробурчал он. — Нечего аварии устраивать! Ты гусеницу снимешь сама? А как подшпишник будешь менять?

Выслушав ее, он покачал головой: ничего у нее не получится. Посадили на «КД» такую тюрьму.

— Так никто другой не хотел брать эту машину! — Она всхлипнула, убитая его презрительной злостью. — И сменщика мне не дали.

— Ты мне еще поплачь, поплачь! — крикнул он.

Лена испуганно высморкалась, вытерла глаза.

— Так я побегу, Игорь Савельич.

— Подожди, — попросил он.

— Неужели начисто обе кости сломали?

— Одну-то наверняка, — сказал он. — Гнется. — Он содрогнулся, вспоминая, как нога мягко погнулась под руками, и тут же сказал: — Подумаешь, перелом, ничего страшного. — И, подстегнутый мужественностью своих слов и почтением, с которым Лена смотрела на него, он решительно приказал: — Снимай гусеницу, давай поглядим, что там творится, и тогда побежишь.

Он заставил ее достать кувалду, разложить инструмент. Ей одной было явно не под силу выбить палец из трака. Игорь ворочался с досады, видя, как неумело, впустую она колотит кувалдой. Он нервничал, честил ее на чем свет стоит.

— Костер подправь! — раздраженно сказал он.

Лена послушно нарвала сухих веток, подбросила в огонь. Трескучее пламя взметнулось, стреляя вверх рассыпными искрами. Лена виновато и испуганно смотрела на Игоря.

— Попробуем спокойненько, — терпеливо сказал он. — Ты в два счета справишься, тебе нужно только какую-нибудь стоечку приспособить под выколотку. А без этого никто не сумеет. И у меня бы так не вышло.

Лена притащила из кабины сиденье, поставила на ребро, положила сверху выколотку. Стоечка помогла. Палец поддался.

— А ты боялась, — похвалил Игорь. — Сейчас мы мигом сварганим, ты только не торопись.

Искры гасли над пламенем, но были такие, что взлетали высоко, и лежащему на земле Игорю казалось, что они уносятся к звездам и сами становятся звездами. Оттого, что Лена непрестанно

восхищалась им, он не мог позволить себе даже постонать. Вдруг она прислушалась, вскочила в кабину и закричала тонко: «Эге-ге-ге!» И начала включать и выключать фару.

Вскоре в темноте показался жужжащий светлячок, и знакомый мужской голос сказал:

— Иду, иду, своей охотой иду. Всех комаров разбудишь своим писком.

На свет костра, держа в руке электрический фонарик, вышел Жихарев.

— Эге, да тут целая компания! Никак шабашите? Ночной загар! А я-то собрался посмотреть, как ночная работа идет.

— Нет, тут авария, а я ногу повредил, — опередив Лену, пояснил Игорь.

Не обращая внимания на его протесты, Жихарев присел на корточки, осмотрел ногу.

— Немедленно эвакуировать надо. — Он укоризненно посмотрел на Лену. — А вы ремонтом занялись.

Лена вдруг вспыхнула:

— Я ему говорила! Да с ним разве сладишь! — Она торжествующе показала на ногу. — И вовсе у него не повреждение. У него перелом.

— Беги в деревню, — приказал Жихарев. — Я остановился у бригадира. Разбуди шофера, и катите сюда.

Лена обрадованно кинулась в кабину за платком, но Игорь остановил ее. Он доказывал Жихареву, что ремонта тут осталось всего ничего и ему необходимо досмотреть, что там приключилось, а потом можно и эвакуироваться.

Жихарев махнул рукой.

— Без тебя справимся.

— Не справитесь. Бригадир наш к полдню явится, в лучшем случае. А Ченцовый самой не разобраться. В конце концов я не маленький, я сам отвечаю за себя, — резко сказал Игорь. — Вы меня простите, но тут, в вопросе ремонта, я хозяин, и разрешите мне командовать.

Наступило неловкое молчание. Жихарев полез в карман за портсигаром. Лена присела на корточки, вытаскивая из костра горящий прутник, подала Жихареву прикурить, словно извиняясь перед ним за больного ребенка, с которого нечего спрашивать и на которого нечего обижаться.

— Сутки можно потерять, — смущенно, но упрямо бормотал Игорь. — Сейчас каждый час...

И вдруг Жихарев с его чудесной способностью идти напрямик, открывая себя нараспашку, засмеялся, и от этого смеха, в котором слышались и откровенная досада, и удивление, и радость, вся неловкость разом пропала.

— Грубиян ты, братец, — сказал Жихарев, скидывая кожанку. — Я уже не говорю, что я секретарь райкома. Хотя бы мой возраст уважал! Мальчишка. Скажи спасибо, что Лена тут... Барбосы вы оба. Стыдно? Постыдись, постыдись!

Он накрыл Игоря своим пиджаком и, свирепо засучив рукава, стащил гусеницу, начал снимать

колпак. Торцовый ключ у Лены, конечно, был сбитый, и Игорь обрадовался, что он не выбросил свой новенький.

— Осторожнее. Подставьте ведро, — попросил он. — Так не снимают. Там левая резьба.

Неловкие движения Жихарева сердили его. Ну разве так обращаются с замком? Ясно, порвали! Не тяните! Эх, нет съемника. Покачайте шпильку еще. Чувствуете, что задирает?

Жихарев, красный, потный, послушно вытаскивал подшипник, мерил.

— Я был прав, — счастливо объявил Игорь, и в эту минуту для него было радостью, что он не ошибся и взял нужный подшипник.

В деревню отправился Жихарев. Лена осталась работать у трактора. Стараясь забыть о ноге, Игорь говорил громко, безостановочно:

— ...За таким, как Жихарев, куда угодно можно. Замечательный он человек. Лена, на этом «КД» теперь берегись камней. Осмотри гон наперед. На будущий год спишем эти «КД». Ну их! Будь я женщиной, я бы влюбилась в Жихарева. Сейчас мне бы водки стакан. Как ты думаешь, помогло бы? Тоня сухарей мне насушила. Чудачка. Целое ведро сухарей. Знает, что я люблю грызть их. Она у меня рассеянная, а тут ничего не забыла. Смотри, никак уже светает. Скоро Жихарев придет. О чем это я?.. Да, память у Тони просто ненормальная: все числа помнит, когда ей чего сказал, где полгода назад мы были, с точностью расскажет. Танцует она — блеск! Вообще у нее способности большие. За ней ребята на заводе толпой ходили. И что она нашла во мне, до сих пор не понимаю! С ней можно десять лет на необитаемом острове жить, и не соскучишься. Мы с ней из-за ее прически часто спорим. По-моему, ей лучше всего, когда она волосы распустит. Верно? Ты ключ торцовый можешь взять себе. Только оформи. Как тут кончишь, подвези Пальчикову бревна для свинарника. Я обещал ему. Богатый свинарник будет. С водопроводом. Тоня придет, я заставлю ее чертежи сделать. Для чапаевцев. Знаешь, как Тоня чертит? Исключительно!

Рассказывая о Тоне, он почти не чувствовал боли. Оставалось только тупое нытье где-то под коленкой. И когда его несли к машине, и по дороге в больницу он продолжал рассказывать про Тонию.

В больнице его положили на белый стол, сестра разрешила голенище сапога. Ужасалась, как распухла нога. Он слышал, как лязгали ножницы в ее руках, и думал о том, что Лена, наверное, уже запустила трактор. И еще его беспокоило, возьмется ли сапожник сшить голенище по разрезу, или нужно будет покупать новые сапоги. И это было последнее, о чем он думал, засыная под наркозом.

Кость срасталась хорошо. Вскоре Игорь добился, чтобы его перевезли домой. Здесь он все же был при деле. Он возился с документацией, посылал требования в Сельхозснаб, к нему приходили из мастерских, из конторы. Поздняя весна потребовала исключительно сжатых сроков полевых работ. Сев не кончился, а тут посадка картофеля, капусты, подъем паров. Начинался сенокос.

Чернышев, Надежда Осиповна, Нарышкин, все работники МТС дневали и ночевали в колхозах. Игорь был единственный из начальства, кто оставался на усадьбе, и все, кто приезжал из района, из области, из соседних МТС, с льностанции, — все шли к нему.

Только вечером он оставался один. Почему-то в эти часы кожа под гипсом начинала чесаться, и, чтобы избавиться от зуда, Игорь брал костыли и осторожно бродил по комнате. Услышав стук, приходила жена Мирошкова и силой укладывала его в постель.

Кровать стояла у окна. В поля медленно входило большое, красное солнце. Если прилечь на подоконник, можно было видеть, как тень от молодой березки в палисаднике росла, удлинялась, переходила через канавы, шоссе, подбиралась к далекому прутьяку, и был такой короткий миг, когда эта тень вытягивалась до самого горизонта. Кирпичные стены новой мастерской блестели, как мокрые, все вспыхивало красным и разом гасло. Наступал мягкий полусвет, и вместе с ним приходила тишина. Собственно, тишины не было, за окном шумела листва, бегали ребятишки, мычали коровы, рокотал трактор, но в комнате была своя внутренняя, задумчивая тишина.

Тоне Игорь написал, что вывихнул ногу, ничего страшного, пусть не волнуется. Где-то в душе он остро жалел, что соврал и что она поверила.

Как никогда, он чувствовал ее отсутствие. Ведь это была их первая разлука! С отъездом Тони даже комната стала другой. До перелома Игорь приходил сюда только почевать, не обращая внимания на пыльные, засохшие цветы в горшках, на затхлый воздух. Теперь комната прибиралась каждый день. Вискобленные половицы влажно светились. Стояли ромашки, принесенные Марией Тимофеевной. Но все равно комната оставалась безуютной, и чистота ее была безжизненно-чужой. Напрочь выветрился запах Тони, этот теплый, смешанный запах ее платьев, тела, волос. Днем здесь пахло мастерской, железом, а вечером из окна тянуло томящим настоем цветущей зелени. В небе не спеша блекли краски, переходили в белесую прозрачность, еще долго остывал багровый накал.

Впервые Игорь физически ощущал время, часы, заполненные тягучим наплывом сумерек и необходимостью о чем-то думать. Впервые он пре-

бывал наедине с собой. Общество это показалось ему скучным, он предпочел бы любое другое, но выбора не было. Он пробовал читать, слушал радио, и все же вынужденность этих занятий лишала их интереса. Приходил час, когда, заложив руки за голову, он лежал и думал.

Раньше он никогда не занимался этим. Чтобы так, ничего не делая, лежать и только думать. Размышлять. Задавать себе вопросы. И самому искать на них ответы. Как-то так складывалась его жизнь, что он больше жил глазами, ушами, ногами. Учился, работал, ел, гулял, решал, какой сталью можно заменить дефицитный прутки и на чем заправлять развертки. Но никогда он не спрашивал себя: а зачем все это, зачем он живет, чего добивается и ради чего все: его работа, переезд сюда, переживания из-за этой гнилой весны?.. Ради той тысячи рублей, которые он получает? Но, честное слово, он даже всерьез не огорчился, когда выяснилось, что премию за весенние месяцы им не дадут, хотя деньги были очень нужны, и, подвернись случай подхалтурить, он не отказался бы. Нет, не в зарплате главное. Для кого он работал? Для людей? Но ведь каждый, любой человек работает на людей...

Напрягаясь от непривычных усилий, он выдушивал из мелочи повседневных своих работ сокровенное. Восемь часов отработал, а потом? Остальное время для себя? Но что значит для себя? Последний месяц у него не было и дня для себя, и все же то, что он делал, он делал для себя. Никто не заставлял его, ему самому так хотелось. Это была уже не работа, это была жизнь для урожая, для хлеба. И для себя?

Он все пытался определить ту долю, какую занимал его нынешний труд в жизни всей страны, и что именно из того, что он делал и делает, зависит до того, будущего, которое называется коммунизмом.

Однажды, настраивая приемник, Игорь поймал голос, говорящий очень точно по-русски и в то же время не по-русски. Неуловимость этого «не по-русски» заставила его прислушаться. Диктор быстро-быстро, взмахивая, с притворным возмущением описывал бедственное положение в запущенных колхозах, беспорядки с трудоднем, уверял, что затея с целинными землями провалилась... Нелепая, злобная до глупости лож почему-то никак не затронула Игоря. Он весело смеялся и пожимал плечами, дивясь тупости организаторов этой передачи. Как ни странно, его задела и возмутила та часть передачи, где приводились факты. Именно потому, что он знал эти факты, он мог судить, как хитро их передергивали, искажали. Получалась видимость правды, более бессовестная и несправедливая, чем самая явная ложь. Он, Игорь, Малютин, мог бы привести факты куда похлестче, но то он, Малютин, он мог позволить это себе, потому что это мешало ему, было его собственной бедой, издержками его работы, его неприят-

ностями. Когда же он услышал то же самое оттуда, услышал, чувствуя злорадство за притворными вздохами заграничного голоса, в нем все восстало. Он почувствовал перед собой врага, не гнушающегося ничем, непримиримого, смертельного, его личного врага, который смотрел на него прищуренным зеленым глазом приемника. И, глядя в упор на тот глаз, Игорь представил себе тысячи километров, сквозь которые летел этот голос, земной шар и ту ничтожную точку, которую занимала на нем вся МТС, и даже весь Коркинский район. И вот, оказывается, откуда, из-за рубежа, жадно следят за этой ничтожной точкой, и все, что творилось здесь, было важным не только для него, Игоря, но и для того, чужого мира. Здесь, в Коркине, в Левашах, за Лискиной рощей, делалась международная политика, и каждый лишний пуд зерна или льна был не просто хлебом или тканью для людей, это был пуд на весах мира. Он делал страну сильнее. С ним считались дипломаты и генералы. Игорь представил себе огромные весы, на одну чашу которых положено все наше, а на другую — все чужое...

Он писал Тоне:

«Понимаешь, как важно быстрее сделать нашу страну самой богатой в мире. Чтобы у нас не осталось ни одного бедного человека. Ведь бедность для человека, царя природы, — это унижительно. Тогда каждый рабочий в другой стране скажет: «На кой мне дался капитализм, если при советской власти я стану богаче? Даешь советскую власть!» Никогда раньше не чувствовал я такого нетерпения: скорее, скорее работать, делать так, чтобы мы с тобой при жизни увидели земной шар нашим, коммунистическим. Мы с тобой можем успеть. Мне, думаешь, бесплатные пиროжные нужны? Мне охота людей коммунизма повидать. Чтобы, куда ни поедешь — в Африку или на Кубу, — всюду свобода, никакого капитализма. Чтобы построить гидростанцию на Средиземном море (есть такой проект). Или, например, туннель через Берингов пролив...»

Случайно вспомнив свои рассуждения через год, он улыбнется их наивности, но сейчас они волновали его, как может волновать только собственное открытие. Так в школе на уроках физики он равнодушно заучивал закон Ома и схему электромотора, но как потрясло его, когда он своими руками смастерил моторчик, включил его, и мотор завертелся!

За время болезни Игорь как-то по-новому сошелся со многими людьми. Часто забегала Лена Ченцова, дочерня загорелая, с вечной «авоськой», в которой позвякивали какие-то детали.

— А как вы в ту ночь про Тоню рассказывали! О ноге забыли, — вспомнила Лена. — Меня завидки забирали.

— Чего завидовать! У тебя на этом участке без аварии обходится, — улыбнулся Игорь.

— Оно, конечно, само собой... — неопреде-

ленно тянула Лена. — Вот объясните: Тоня, когда за вас замуж шла, боялась?

— Чего же ей бояться?

— Ну да, по вам это — одно только счастье.

— Чего ты темнишь?

— Ничего не темню. У одной моей сестры свадьбу сыграли, а через полгода ушла она от мужа. Гулял. Никакой возможности не было. Вторая сестра тоже. Обманул ее один парень, киномехаником работал. Уехал, а ее с маленьким оставил.

— Ваню ты в подлости зря подозреваешь.

— Я этого не боюсь. — Лена подумала. — Мне что страшно: вдруг у нас не получится.

Игорь улыбнулся ее откровенности: что значит больной, за мужчину не считают.

— Нехозяйственный он, — размышляла Лена. — Городом порченный. Живет у родителей, строиться не хочет. Что ж это у нас получится?

— Мы тоже не строимся.

— Вы городские. У нас так не положено. Не век же нам по чужим людям жить.

— Не там ты счастье ищешь. Мы с твоим Ваней люди техники, у нас другие интересы.

— Оно, конечно, само собой. А я, Игорь Савельич, тоже человек техники. А вот боюсь: как поженимся, так мне с трактора уходить придется.

— Почему?

— Накормить надо, по хозяйству заняться, скотину прибрать, без этого какая я жена? — Она задумчиво развела руками, и коротенькие, тугие косички ее разошлись в стороны козыми рожками.

Игорь расхохотался.

— Полный кавардак у тебя в голове. Самая знаешь, чего боишься. Хозяйство требуешь заводить, трактористкой хочешь остаться, веришь не веришь, — каша у тебя форменная.

— Вот и я полагаю, что каша, — уныло соглашалась Лена.

А Игорь думал о том, почему в чужой жизни так просто все оценить и легко разобраться и видно, как надо и как не надо? Советы даешь, утешаешь. А вот у себя самого...

Последнее письмо Тони встревожило его. Показалось оно каким-то возбужденным, вкрадчивым, с непонятными намеками на важные дела: что-то должно решиться, кто-то что-то обещает. Ей, как всегда, удивительно везло: их комната, где жил Логинов, освободилась; Леонид Прокофьевич переехал в новый дом, и она живет теперь на их прежней квартире.

Он ответил сдержанно: сиди там сколько тебе нужно, обо мне не беспокойся, у меня все хорошо. А сам перечитывал ее письмо, пытаясь угадать, как она писала его, как сидела, какое платье было на ней.

Он кидался в сон, старался избавиться от своей тоски по Тоне, но ему снились ее руки, ее губы, он просыпался среди ночи и, лежа в тем-

ноте, не мог понять, куда она исчезла и почему они оба сейчас так далеко друг от друга... Он ставил себя думать о другом: о мастерских, о заводе, о чем угодно. Вот, например, ремонтное дело. Да, именно ремонт. Система ремонта тракторов, в сущности, куда прогрессивнее ремонта станков на том же Октябрьском. Допустим, на тракторе испортился мотор, его снимают, увозят на центральный ремонтный завод, берут оттуда взамен исправный и ставят на место снятого. Быстро и удобно. Станок же демонтируют тут же, в цехе, и возятся, возятся с ним недели две, а то и больше...

...Как они оба не ценили того, что были вместе! Она была здесь, а он занимался, куда-то уходил, вместо того чтобы сидеть рядом с ней, держать ее руки и смотреть на нее. Он вел себя поскотски. Она тысячу раз права, что не торопится вернуться.

Взять бы сейчас ее волосы, запрокинуть ей голову и смотреть в коричневый блеск ее глаз...

Заходил Чернышев. Аккуратно вытирал ноги о половичок, доставал обернутую в газету книжку о каком-нибудь художнике. «Вот, обратите внимание», — он указывал на торчащие ленточки закладок. Игорь поделился с ним идеей централизованного ремонта станков. Вначале Чернышев торопливо поддакивал с тем преувеличенно оживленным видом, каким отвечают больным. Устало потирая глаза, он прикинул в блокноте экономический эффект и вдруг загорелся. Игорь воодушевился. Он вдруг подумал: значит, автомат для «Роплага» не единственное, на что он, Игорь, способен. Значит, его серое вещество, как говорит Жихарев, действует.

Они славно обговорили подробности реформы, но это не помешало Игорю тут же крепко схватиться с Чернышевым относительно строительства новой мастерской. Игорь требовал людей. Он не намерен был упускать строительный сезон. Мастерскую нужно к зиме закончить! Хотя тут посевная, хоть уборочная, он не позволит ни на один день остановить стройку! Не хватает людей в поле? Ничего, обойдетесь.

— Вы сами, Виталий Фаддеевич, доказывали, что вовсе у нас не такой кризис с людьми, как мы любим выставлять. Помните, вы сравнивали с американскими данными.

— Ого, я вижу, вы тут за время болезни кое-чего поднабрались! — сказал Чернышев. Он скупо улыбнулся. — Перелом! Ну ладно, дело отложим до послеыздоровления.

Ни его улыбка, ни сухой, приказной тон не действовали на Игоря.

— Вы играете на своей болезни, — с легкой досадой усмехнулся Чернышев. — Чисто женский прием.

— Называйте как угодно, — стойко сказал Игорь. — Мне все равно. Если вы начнете снимать у меня людей, я... я обращусь к Жихареву.

— А если Жихарев на сей раз меня поддержит? — с любопытством глядя на Игоря, спросил Чернышев.

— Поеду в обком.

— Неплохо, — сказал Чернышев, вставая. — Это то, чего не хватало вашему характеру.

По вечерам Игоря навещали просто так, покалякать. То Мария Тимофеевна принесет какие-нибудь книжки, пироги, то Мирошков зайдет, поговорит о политике. Радиолу притащили Лена с Ахrameевым. Радиола была казенная, из красного уголка. «Пользуйся, срастайся под звуки танго, — сказал Ахrameев, — благо в уголке никто сейчас не бывает». Даже Исаев зашел под предлогом выяснить нормы расхода горючего и, не ловко потоптавшись, сунул Игорю банку соленых огурцов. Они поговорили о новой мастерской, и больше всего Исаева потрясло, что у его топливной аппаратуры будет отдельный цех с надписью на дверях: «Посторонним вход воспрещен».

Женщины наперебой таскали Игорю всякую снедь, каждая считала, что без жены он лежит голодный, непоеный, некормленный. Мужчины дымил, уважительно постукивали ногтем по гипсу, судили-рядили про землетрясение в Японии и происки Даллеса.

То ли щадили его как больного, то ли и впрямь весна была необычной, но только новости объявились добрые: из города возвратились двадцать две семьи; Мария Игнатьева раззадорила Петровых, пить он бросил начисто, колдует в поле с утра до вечера, выхаживает с Марией новый сорт льна; дорожники обещали закончить к уборочной дороге до самого Покровского.

Во всех этих посещениях, «сторонних» разговорах Игорь с удивлением открывал неизвестное в людях, которых он, казалось бы, хорошо знал. У каждого оказывались какие-то затаенные мечты, планы, у каждого был какой-то свой особый взгляд на мир, если угодно, своя философия, свои государственные идеи.

Взять того же Нарышкина. Игорь считал его пустоватым, разбитным провинциальным франтиком. И специальность у него несерьезная — ветеринар. А оказалось, что этот Нарышкин влюблен в свою профессию и может рассказывать о ней часами, как поэт! Стоило Игорю что-то сморозить про ветеринарию, как Нарышкин разнес его с яростью.

— Ни одного куска мяса, ни одного литра молока вы, горожане, не получаете помимо ветеринара! Неблагодарное племя городских потребителей, знали бы вы, от скольких болезней спасаем мы людей! Гуманность! Хотите вы знать, что такое истинная гуманность? — восклицал он, протирая руку к потолку. — Это ветеринария. Медик! Что медик? Попробуйте вы любить людей, через животных, через гельминтологию, бруцеллез, трипаномы. Да, наша работа черная, грязная, незаметная... Есть профессии красивей, но труд-

нее — нет! Зоотехник — вот кого вы видите на авансцене. А что зоотехник? Разве он может так любить животное, как ветеринар, который вылечил, выходил?.. И вообще мне кажется, — заключил он, — зоотехники не нужны, всю власть над животноводством надо передать ветеринарам.

Поносить зоотехников он мог без конца.

— Гельминтология, — шурился Игорь, — это звучит. И подумать только, что это всего-навсего глисты!

— Ты дремучий обыватель! Ты вполне можешь работать зоотехником. — Нарышкин мстительно улыбался. — Эх, будь у меня отпуск, закатился бы я в Ленинград и ходил бы все двадцать четыре рабочих дня плюс выходные возле твоей Антонины, благо ты, пока не сросся, безопасен. Узнал бы ты тогда, что такое ветеринарные кадры.

...Разумеется, за Тоней там кто-нибудь ухаживает. Она слишком интересна, чтобы ее оставили в покое. Игорь не понял бы мужчину, который равнодушно прошел бы мимо Тони.

Одна картина мучительнее другой рисовались ему. Ипполитов, он вертелся возле Тони еще до Игоря, он помогал ей заниматься на первом курсе. А может быть, это Костя Зайченко? Они вместе сдают экзамены, вместе ходят в библиотеку, гуляют по Автову. Не все ли равно кто, — факт, что есть он, и этот он ухаживает за Тоней. И там есть ЦПКО, театры, Дом культуры, каждый вечер развлечения, можно кататься на яхте, на лодке, не то что здесь, не то что он, Игорь, который все эти месяцы только и делал, что ныл, возился со своими машинами и не разговаривал с нею целыми днями.

Пытка возобновлялась каждый вечер. Порой тоска скручивала его так, что он готов был послать телеграмму: немедленно приезжай. Но что-то останавливало его. Если у него есть характер, как утверждает Чернышев, то и в этом он должен быть мужчиной. И все же поздними вечерами он боялся себя, боялся, что не выдержит, оденется, выйдет на костылях на шоссе, съедет на «попутку», доберется до станции и утром приедет в Ленинград.

Он с нетерпением ждал рассвета, утреннего гудка... Заботы о завтрашних делах как-то удерживали его. Но скрепа становилась непрочной, он все сильнее натягивал ее, чувствуя, как она трещит.

«Да что ж я в конце концов, не доверяю ей? Какие у меня основания? Чепуха, нервы, воображение. Я верю, верю, я просто хочу ее видеть, я не могу больше без нее. Ладно, не буду, я только помечтаю». И он отправлялся в воображаемую поездку.

Это была опасная игра, потому что, когда она койчалась, ему становилось еще тяжелее. Ему обязательно представлялось, как он застаёт ее врасплох с кем-нибудь на улице или в кино...

Подозрения его переходили в уверенность. Ревность... Он улыбался. Ревнивый муж — это очень смешно. Мещанство. Пережиток. Они с Тоней как-то смотрели оперетту про ревнивого мужа. И хохотали. Нет, никакой он не ревнивый муж, это даже дико звучит. Просто, если он узнает что-нибудь, то все будет кончено...

В субботу вечером пришла Надежда Осиповна, возбужденная, радостная; в областной газете напечатана статья о самостоятельном планировании колхозов, раскритиковали Кислова, а район похвалили. Звонил Жихарев — решено протянуть линию электропередачи в Левашах. Она принесла букет цветов, кринку свежего творога, пирог с морковью. Накрыла стол, поставила цветы, и комната сразу празднично повеселела.

— Ландышам вазочку отдельную, — приговаривала она. — Никакие другие цветы с ними не уживаются, вянут. Такой милый, скромный цветок, и, поди ж ты, никого терпеть не может.

Была она в коротком ситцевом платьице в горошек, в матерчатых сандалетках на босу ногу, смуглая, пропитанная солнцем кожа ее на руках и ногах была вся в белых царапинах и ссадинах, как у ребятишек. Загар смягчал ее грубое, скуластое лицо, и даже зеленоватые глаза посветлели, словно выгорели вместе с золотистыми бровями и кудрявыми, коротко остриженными волосами.

С самого начала Надежда Осиповна заявила, что хочет сегодня отдыхать, к черту дела, слышать она больше не в состоянии про посевную. Но стоило Игорю спросить о льне, как Надежда Осиповна вспомнила, что на некоторых участках найдены личинки долгоножки, и принялась упрямить Игоря изготовить специальные распылители.

Сейчас она болела новой идеей — специализировать все колхозы района на льне. Превратить весь район в огромную фабрику льна. Приспособить всю технику, семенное хозяйство, удобрения — все для льна. А то любой колхоз словно промкомбинат: тут тебе и пшеница, и клевер, и капуста, и овес, и кукуруза, и парники — чего только нет! А ведь мы можем такой лен дать, какой нигде не уродится! А пшеницу и без нас вырастят на Кубани.

Она уже уговорила председателей колхозов и Чернышева подписать письмо в обком. Надо еще Жихарева обработать. Эх, был бы у нее муж большой начальник, она б его завербовала, она б его настроила! Ради такого дела можно и за секретаря райкома пойти.

— Чего ж, если за вами остановка... — засмеялся Игорь.

Надежда Осиповна подперла руки в бока.

— А вы как полагали? У меня на любого мужчину отмычка имеется. Чего другого, а тут-то мы вашего брата запакуем и в мешок спрячем, не заметите.

— Ну, уж будто...

— Да-а? — Она заглянула ему в зрачки, зеленые глаза ее вспыхнули, и, начиная с этой минуты, хотя они продолжали говорить о льне, между ними появилось неуловимое, озорное поддразнивание.

Надежда Осиповна достала из шкафа бутылку паливки, стол придвинула к кровати, сама села на краешек.

— Выпьем, бобылек, за твои буйные ноженьки... — смеясь, протянула она.

Чокнулись. Выпили. Потом еще. Надежда Осиповна много смеялась, раскраснелась; густой румянец сквозь смуглоту сделал загар почти оранжевым, такого цвета, какой бывает у свежеспеченной, хрустящей булки.

— Скучно без жены, а?

Игорь пренебрежительно, высокомерно присвистнул.

— Так и надо. Молодец! — сказала Надежда Осиповна. — А весна-то какая! — Она потянулась, закинув руки за голову; он увидел под мышкой белый мысок тонкой, совсем незагорелой кожи, под которой доверчиво голубели жилки, и смутился. — Гулять бы сейчас, всю ночь напролет! В городе весной тоже неплохо. На набережной... Уж я бы там на месте Тони развернулась.

Он жадно слушал, с мучительным удовольствием подтверждая свои подозрения, живо представляя себе, как сейчас там, в Ленинграде, кто-то берет Тоню за руку, обнимает, может быть, целует, может быть, у тех же перил неевского моста, и она шепчет кому-то те же слова, какие шептала ему, их слова...

— Подумаешь, пусть гуляет, плакать не станем, — сквозь зубы сказал он. — Нам еще свободнее.

Он все пытался увидеть лицо Тони и не мог. Слышал ее смех, знал, какие у нее волосы, какие глаза, но не видел ее и никак не мог вызвать в памяти ее облик.

Он поднялся на кровати, взял Надежду Осиповну за руку, притянул к себе, обнял.

Глаза ее смеялись.

Он чувствовал рукой мягкое тепло ее плеч, видел рядом ее губы и не испытывал при этом ничего, кроме острой до боли тоски по Тоне. Сделав над собой усилие, он крепче сжал плечи Надежды Осиповны.

Она покачала головой, потом отстранилась.

— Тебе целоваться нельзя.

— Нет, можно! — сказал он, презирая себя за то, что не может преодолеть свою боль.

Глаза Надежды Осиповны продолжали смеяться.

— А Тоня?

Он ожесточенно нахмурился.

Надежда Осиповна вздохнула, улыбнулась, но улыбка эта была тихая, безрадостная. Она погладила Игоря по щеке, прижала к себе и мягко толкнула на подушку.

— Ложись, успокойся.

Она встала, сунула лицо в белый букет черемухи.

— Надя! — позвал он.

Она кинула ему ветку черемухи.

— Отцветает...

— Надя!

— Чудак вы, Игорь Савельич, — спокойно отозвалась она. — Так лучше. Потом сами жалеть будете.

— Не буду.

— Будете. Уж поверьте мне. Это ведь со зла. Мне-то что... Мне вас приваживать жалко. Эх, жалеть чего-то стала я вашего брата, хоть вы-то меня не жалели. Ломали, как эту черемуху... Вот Писарева тоже помиловала.

— Ну, уж так и помиловала.

— Да я не про то, — с досадой и презрением сказала она. — Переспать сердца не надо. А вот проснешься... — И такая тоска прорвалась в ее голосе, что Игорь почувствовал себя последним подлецом.

— Вам бы замуж, Надежда Осиповна. К вам каждый присваивается, с полным счастьем... Честное слово! — горячо добавил он.

— Замуж... А почему я должна обязательно замуж? — внезапно возмутилась она. — Какой-нибудь холостяк работает, вечером по бабам таскается, и никому в голову не придет жалеть его. Завидуют ему. А как баба незамужняя, так все плачут: ах, бедная! Ровно убогая какая. Чихать я хотела на замужество! Захочу ребенка, и без мужа займю. А отгуляю, возьму какого-нибудь старца, пусть ухаживает, кофе подает.

Но что бы она теперь на себя ни наговаривала, Игорь не верил, а верил тому доброму и чистому, что он почувствовал в ней.

Распили последнюю. Игорь захмелел, он гладил руку Надежды Осиповны и зло бранил Тоню. Надежда Осиповна, посмеиваясь, советовала, как нога поправится, ехать в Ленинград. Игорь клялся, что он не подумает ехать, и писать больше не будет, если она такая, и вспоминать о ней не станет, и ему казалось, что он совершенно спокойно встретит известие о том, что Тоня там влюбилась в кого угодно, хоть в того же Ипполитова. Он холодно улыбнется и пожелает ей счастья.

— Мне бы только узнать, — говорил он. — Уточню — и тогда женюсь на вас, Надежда Осиповна.

Затуманенными глазами он смотрел в ее скуластое лицо и искренне хотел жениться на ней и сделать ее счастливой.

Надежда Осиповна хохотала.

— Утешил меня, потешный! — заливалась она. — Миленький вы, а я, может, и не пойду за вас!

— Это почему? — обиделся Игорь.

— А может, я другого люблю.

— Это ж кого, Писарева?

— Нет. — Что-то грустно-разочарованное, обращенное к самой себе, вспыхнуло в ее зеленых глазах и погасло. Она резко тряхнула головой. — Жалко его.

Игорь по-мужски обиделся за Писарева. И лишь много времени спустя после ухода Надежды Осиповны в ее жалостливом сочувствии к этому человеку открылось ему предостережение о собственной слабости.

Наутро он проснулся с чувством стыда за вчерашнее. Гадким было то, как он держался с Надеждой Осиповной, что он говорил про Тоню. Неважно, что до этого он мог то же самое думать, но теперь, произнесенное вслух, это становилось поступком.

В комнате держался влажный холодок ночи. За окном редела лиловая мгла, а в другом окне, напротив, пламенел восход. Переливаясь, светили полосами тонкие и крутые переходы — бело-голубой, розовый и над самым лесом — малиновый. Бежали первые прозрачные тени. Еще не пели птицы, все замерло, слушая приближение нового дня.

«Что же делать, что же мне делать? — думал Игорь в тоске, глядя на это прекрасное небо. — Почему все так плохо, когда такое небо и такое утро?»

Ему становилось еще горше и стыднее за себя перед этой чистотой.

На дороге к гаражу показались Чернышев и Надежда Осиповна. Они заметили Игоря и приветственно помахали ему. Надежда Осиповна подбежала к его окну, привстала на завалинку.

— С добрым утром!

На ней был серый пиджачок, платочек, брезентовая сумка висела через плечо.

Он улыбнулся, с удивлением чувствуя, что ему несколько не стыдно перед ней. И как это хорошо, что вчера он послушался ее, и как было бы ужасно, если бы случилось иначе! Он горячо и благодарно пожал ей руку.

— Все будет хорошо, — серьезно сказала она. — Я вам категорически верю. Так как же с распылителем, сделаете?

Он помотал головой.

— Ну, миленький Игорь Савельич, я вас поцелую.

— Пожалуйста. Это с удовольствием, — сказал он. — А распылителя не сделаю. Нет у меня людей. Мне строить надо, строить. А вы можете вручную распылять. Ничего, не задохнетесь.

— Такое отношение? — злое сказала Надежда Осиповна. — А я еще вас вчера жалела... Киньте колбасы. Не надо всю. Половинку.

Она щелкнула его по носу и побежала к машине, где ее ждал Чернышев.

Игорь, улыбаясь, смотрел им вслед и думал о том, как хорошо, что вокруг него такие люди, и что у него есть дело, без которого он бы действи-

тельно был несчастным, и что самое ужасное сейчас — это не то, с чем он проснулся, а то, что ему никак не раздобыть трубы для душевой и фитинги для насосной.

«Человек может все, — думал Игорь. — Единственное, что он никогда не сможет, — это знать свое будущее...» Он стоял, подогнув больную ногу, опираясь на деревянное перильце витрины. После полевой тишины его оглушало шумное дыхание города. Со странным брезгливым наслаждением вдыхал он полузабытое возбуждающее месиво резких запахов нагретого асфальта, свежей коричневой краски, блестящей на дверях его дома, на наличниках витрин, сладко-удушливого бензина — весь этот густой воздух, насыщенный гудом пролетающих машин, троллейбусов, шарканьем подошв, голосами. На бульваре девочки прыгали через скакалку, дребезжала коляска мороженщицы, пело радио, сытые голуби лениво бродили по мостовой. Небо, пойманное в частую сеть проводов, стиснутое домами, было серо-голубым от дыма.

Он оставался в напряженном ожидании минуты, когда увидит Тоню. В это ожидание он погрузился с того момента, когда поезд тронулся; оно все усиливалось дорогой и стало еще сильнее, когда он поднялся на лифте и наткнулся на закрытую дверь, а потом спустился вниз и стоял у подъезда, смотря вдоль улицы. Игорь несколько не раскисал в том, что не дал телеграммы, он готов был простоять здесь час, два, до ночи и всю ночь, поглощенный страстным ожиданием встречи, мгновения, когда он увидит ее среди толпы.

Он еще числился на бюллетене и имел право уехать, но работы в мастерских поднавалило такую прорву, что он не имел права уезжать. Он хотел ехать — и не хотел. Не хотел потому, что это было слабостью, уязвляло его мужскую гордость. Противоречивые желания и начисто враждебные чувства разрывали его. Тревога и презрение за свою тревогу, самолюбие и тоска, ревность и уверенность... Неизвестно, чем бы это кончилось, вернее всего — он не поехал бы, но Чернышев посоветовался с Жихаревым и решил отправить Игоря в Ленинград на межобластное совещание механизаторов. Чернышев и Жихарев просидели у него целый вечер, уговаривали ехать, бранили, делая вид, что самое главное, зачем ему надо ехать в Ленинград, — это совещание, как будто вместо Малютина нельзя было отправить инженера по сельхозмашинам или кого-нибудь другого. И он поехал. В командировку. Вместе с Ахrameевым. На совещание. Ахrameев отправился с вокзала к родственникам, а он домой.

...Тоня увидела его сразу, с ног до головы, как при вспышке магния; руки, сунутые в карманы синего плаща-дождевика; соломинку, зажатую в сухих, обветренных губах; подогнутую больную

ногу; палку. Лицо ее мгновенно прихватило точно морозом, в нахлынувшей бледности застыла недоверчивая улыбка, с какой она только что слушала Ипполитова. Вытянув руки, медленно, как слепая, обошла Ипполитова и шагнула к Игорю.

Щека ее коснулась его щеки, пальцы, вздрагивая, обожали его шею, волосы на затылке, лицо ткнулось куда-то под его ухо, зарываясь все глубже, и наконец, ощутив своим холодным носом тепло его шершавой кожи, она закрыла глаза, засмеялась длинным, всхлипывающим смехом.

Ее волосы, ее смех щекотали его, какая-то заколка царапала ему лицо, он боялся пошевелиться и только быстро, коротким движением, гладил ее плечо. Сквозь все одежды слышался громкий стук ее сердца, смятенного радостью. И то, что мучило его в течение последних дней и в эту бесконечную дорогу, которая все растягивалась и растягивалась по мере приближения к дому, — все стало нелепым, стыдным, все вспыхнуло и сгорело, оставляя лишь едкий дымок недоумения. И с каким-то жадным восторгом он вдыхал этот дым.

Наказывая себя, он обнимал ее на виду у прохожих. Все замерло. Повисли в воздухе взлетающие веревочные воротца, и девочка, подпрыгнув, осталась в воздухе. Остановились люди, машины, зайчик от распахиваемого где-то окна. И только два солнца в Тониных глазах горели, переливаясь слепящим светом.

Он крепче прижал ее к себе, как будто силился удержать, растянуть этот сияющий миг.

— У тебя царапина на щеке, — пробормотала она.

— Наверное, от твоей заколки.

— Я ее выброшу.

— Надо скорее позвонить.

— Да, конечно.

— А кому?

— Не знаю.

— А почему ты мне не телеграфировал?

— Не знаю.

— У тебя брови порыжели.

— Ты хочешь семечек? Я тебе привез семечек.

Первые час-два, закрывшись в комнате на ключ, они бормотали какую-то бессмыслицу, шептались, вдруг начинали хохотать. Тоня гладила его больную ногу, еще запакрованную в гипс, ругала за то, что он скрыл про перелом, требовала, чтобы он все подробно рассказал. Вместо этого он повторял, растягивая каждую букву:

— Т-о-н-я, Т-о-н-я...

Она склонилась над его лицом, рассматривала каждую черточку, каждый кусочек кожи и ничего не видела; ей хотелось по-щенячьи лизать его, она запускала пальцы в его лохматую, давно не стриженную шевелюру, терлась щекой о его грудь. Ей был приятен запах его тела, она гладила шелушившуюся кожу на его больной ноге, — все это было ее, ее собственное.

Время остановилось. Не было времени. Ничего не было. Снова они двое. Снова его безжалостно прищуренные глаза и вдруг твердеющие мускулы, грубость его рук, которую она так любила.

Потом приходила тишина. Было грустно оттого, что наступает то «дальше», в которое не хотелось спускаться, о котором не хотелось думать и говорить, потому что там все слова и поцелуй станут другими.

Она спохватилась — разогреть макароны! Босиком побежала на кухню, там хозяйничала Олечка Трофимова. Стоя спиной к дверям и перемывая картошку, Оля наклонилась над раковиной. Тоня тихонько попятилась назад, прикрыла дверь: ей не хотелось, чтобы Олечка видела сейчас ее лицо.

— Тоня, обедать у нас будет! — крикнула вслед ей Олечка. — Сережа сейчас придет.

Тоня вернулась в комнату, прыгнула в кровать, и вдруг разом оба вспомнили об Ипполитове. Куда он делся?

— Но ведь был же Ипполитов? — изумился Игорь.

Никто из них не заметил, что с ним случилось.

— Ну, чего ты заливаешься! — возмутилась Тоня. — Человек за мной ухаживает. Почему ты не ревнуешь?

— За тобой все должны ухаживать! Безобразно, если б он за тобой не ухаживал.

Он повернулся к ней, смешно всклокоченный, блаженно сияющий. Тоня засмеялась, но под этим смехом шевельнулась невиданная досада.

Обедали у Трофимовых. Выпили за приезд, за здоровье Олечки, которая ходила уже на восьмом месяце. Трофимов рассказывал заводские новости, хвалил Логинова за всякие новшества. Готовились большие перемены: завод переходил на специализированный выпуск, расширялись литейные цехи, устанавливали высококачественное оборудование.

Игорь с интересом слушал, расспрашивал, но вдруг замечал, что ничего не слышит, а гладит под столом Тонину руку.

Олечка смеялась над ними. Она двигалась осторожно, закрывая руками большой живот. С худого лица ее не сходило озабоченное выражение.

— Каюк, брат, прикололи меня, — жаловался Трофимов. — Вот мальпост купил, телевизор. Семейная техника. Отгулял. — Приезд Игоря обрадовал его, он шутил, дурачился, рассказывал рискованные истории, не стеснялся женщин.

— Удалось тебе накрыть свою благоверную?

— Удалось, — засмеялся Игорь.

— А я знала, что Игорь сегодня придет, — сказала Тоня.

Игорь усмехнулся:

— Как бы не так!

— Верно, Олечка? Помнишь, я тебе говорила? Трофимов сделал серьезное лицо.

— А ты, парень не удивляйся. Они все знают. Мы, мужчины, ждем на всякую технику, автома-

тику, а если выкинуть, так это полное невежество по сравнению с устройством человека. Делаем мы приборы наивысшего класса. К примеру, нам сейчас в ОТК дали аппараты. Шедевры! Или взять электронные микроскопы, величину показывают до того ничтожную, что она вообще величиной не является. Так, вздох. Кажется, что перед этим человек? Гиппопотам! Что мы своими конечностями способны измерить?

— Кубометр дров, — подсказал Игорь.

— И я так полагал. И на этом влип. Недооценивал. И недооценивал я женщину, что хуже всего. Женщина сумасшедшей чувствительностью обладает. Особенно, если она пребывает в состоянии жены. Никакой сейсмограф не сравнится. Мужчины такое не улавливает, доводи его хоть до наивысшего образования. А женщины... — Он оглянулся на Олю с Тоней, сидевших на диване. — Слушай сюда, лет пять назад это было, возвращаюсь домой. Пришел чин чин, даже коробку пастилы принес. И что ты думаешь? Где был, спрашивает. Где? Ясно, на работе, завком, то-се. Нет, докладывай, где был. Я клянусь, боюсь. Она в слезы: опять эту крашеную нормировщицу провожал? Я доказываю: никого не провожал, совсем наоборот, шел до дома с Коршуновым. Не верит. Через час Коршунов забегает. Она его разоблачать. Он подтвердил мои данные без всякой погрешности. Ну, вроде успокоилась. Так что ты полагаешь? Вечером как брызнет слезой: все-таки, чувствую, провожал. Я кулаком по столу — безобразие, факты бери! А она... Не стану, говорит, брать твоих фактов, они только в сомнение вводят, потому что все равно провожал. Три дня не разговаривали. Представляешь, какая чувствительность? Это ж всякие законы природы нарушает! — восхищался он.

Игорь улыбнулся.

— Пастила тебя подвела.

Трофимов подумал.

— Да, пожалуй, насчет пастилы я перестарался.

Олечка осторожно засмеялась. Она слушала их отрешенно, благодушно, больше занятая своим. Трофимов перегнулся через стол, ласково шлепнул ее.

— Ты, старуха, не встревай, тебя это теперь не касается. А вот тебе, Игорь, другое происшествие. Поехала она в дом отдыха. Раз оттуда звонит, два звонит. Проинформировалась, все нормально. Третий звонит. С моей стороны обычная чуткость: как, мол, кормят, то-се. Вдруг бац: ты на пляж, ходишь с этой брюнеткой, я знаю, я чувствую, меня услад, а сам!.. Забулькала, забулькала, и короткие гудки. Ну, объясни, пожалуйста, ни фига изюминки моей не видела, ничего, одни слаботочные сигналы по проводу. Откуда узнала, спрашивается? Абсурд. Загадка природы. Я тебе доложу, — мечтательно сказал он, — если приспособить ихнюю женскую систему для дела, такие

можно материи замерять, куда там наша техника. С Марса любые сигналы уловим. Ты свои смешки брось. Об заклад бьюсь: если б я на Марсе с какой-либо местной гражданочкой перемигнулся, она бы немедленно зафиксировала и тут все тарелки перебила. Это ж форменный локатор! Это ж проблема!

— А ты без этого не можешь? — полюбопытствовал Игорь.

— Ну, поскольку мне не доверяли, то я и нарушал. — Он оглянулся на женщин, понизил голос: — Я не за то, чтобы непрерывно изменять или там разводиться. Я лично свою Ольгу ни на кого не променяю. Но освежиться мне было необходимо. А теперь — амба!..

Во время его рассказа знакомая досада царапнула Тонию — не умеет она так понимать и чувствовать своего мужа, как Олечка. Плохая, бесталанная жена. Настоящая жена — это, несомненно, талант. А ведь она, в сущности, до сих пор не знает, какие у Игоря слабые стороны, как управлять им. Не сумела никак использовать ту минуточку встречи, когда она шла с Ипполитовым, растерялась от радости, все упустила, такой удобный случай был заставить Игоря приревновать. Тогда б он понял: нельзя ее тут оставлять одну. Совсем девчонка. Неужто она никогда не научится быть настоящей женщиной, холодно и расчетливо владеть своими чувствами? Впредь нельзя так, нараспашку. Чтобы добиться своего, ей надо действовать осторожно. Сам он к дяде просить не пойдет и, чего доброго, разозлится, если узнает, что она тут затеяла. До поры до времени лучше его не вмешивать в эти дела. Но как бы там ни было, он приехал, он не может без нее! Олечка была права, Олечка убеждала ее: не тащи силой, мужчина не любит, ихнюю амбицию надо учитывать; если любит, сам приедет, не вытерпит, примчится. А ведь еще бы день-два, и она бы не выдержала, бросила все и умчалась в это Коркино.

Тоня вдруг расцеловала Олечку и посмотрела на Игоря с улыбкой, которая показалась ему непонятно-ликующей.

Это был долгий чудесный день. Тоня показывала Игорю город с таким рвением, будто он впервые приехал в Ленинград. Они любовались на новые дома, потом зашли в кино, но не высидели и двадцати минут. Как только у Игоря отдохнула нога, они отправились в книжный магазин купить Чернышеву монографию о Врубеле, потом зачем-то заглянули на собачью выставку, потом в универмаг. «Ты ведь соскучился по городу, верно?» — допытывалась Тоня. Он послушно глазел на витрины, но в их зеркальном блеске ловил только отражение Тони и поражался тому, что эта красивая женщина — его жена.

Словно вернулась первая влюбленность. Волновало каждое прикосновение. Прохлада золоти-

стой руки. Две черешни, приколотые к кофточке. Вязкие взгляды встречных мужчин... Все, что виделось и чувствовалось, всем нужно было немедленно поделиться с нею.

— Смотри, очередь какая за луком, — показывал он, — стоят по часу, по два. Поработал бы каждый из них эти часы на земле, и в очереди стоять не надо. Завалились бы и луком, и огурцами, и прочим.

Он воспринимал город с его удобствами и удовольствиями не совсем так, как она ожидала. Вздыхал и завидовал не больше, чем обычный отпускник, у которого кончается отпуск. Появилось в нем даже высокомерие, чувство превосходства, что было совсем непонятно, да и сам он не сумел бы толком раскрыть свою тайну, которую горделиво нес среди этой шумной, обтекающей его толпы. Никто и не подозревал, что вот этот скромно одетый, прихрамывающий парень делает для них всех хлеб. Как бы они тут обходились без него, Игоря Малютина? Он чувствовал себя кормильцем всех этих тысяч старых и молодых женщин с авоськами, мужчин с папками и свертками, мальчишек, бегущих из школы.

С пренебрежительной злостью разглядывал Игорь компании крикливо разодетых парней с бледными лицами и брезгливо поджатыми губами, стоящих на перекрестках. Когда-то он глухо завидовал их манерам, вольготной жизни, сейчас он смотрел на них свысока, — попугаи, дармоеды, истребляющие хлеб, сделанный Ахrameевым, Игнатьевым, Пальчиковым — всеми его друзьями. Отправить бы этих бездельников на поля...

Холодильники, фарфор, мебель, выставленные в огромных витринах, — нет, ничего этого ему не надо. Юношеская гордость отречения сквозила в его снисходительной улыбке. Он рядовой солдат, солдат на побывке, солдат, которому завтра снова в бой.

В универмаге они встретили Левку Воротова. К удивлению Игоря, Левка как ни в чем не бывало долго тряс ему руку, распространялся о своих дружеских чувствах.

— Ты что, вернулся? Насовсем? — спросил он.

— Нет, куда там!

— А возможность есть?

— Конечно, есть! — не вытерпела Тоня. И принялась рассказывать, как обрадовались бы на заводе, если б Игорь вернулся, у него такое изобретение, стоит ему проявить малейшую инициативу...

Игорь смотрел на нее с нежностью, потом вдруг резко оборвал:

— И без меня здесь обойдутся...

— Чудило, — покровительственно сказал Левка. — С какой стати тебе торчать на периферии? Чем ты хуже других? Раз есть возможность, то какая ж тут альтернатива?

Игорь прищурился.

— А помнишь, какую ты мне альтернативу на райкоме выдавал? Помнишь? Могу повторить.

Левка сплонул.

— А ну их!.. Я уже не член райкома. — И он, ругаясь, начал жаловаться, как против него интриговали, копали и как на конференции вычеркнули его из списков. — Демократию развели! — злобно сказал он. — Распоясались всякие демагоги, особенно ваш Шумский и Рагозин постарались.

— Значит, прокатили? — спросил Игорь. — Вот это ты мне удружил! Вот это здорово! Ох, хорошо, хорошо!

В его голосе, улыбке было столько искренней радости, что Воротов опешил.

— Замечательно! Все-таки раскусили эту паскуду, — сказал Игорь, когда они отошли от Воротова. — Ай да ребята! Нет, это не случайно. Я много думаю. Так и должно быть. И чем дальше, тем строже будет. Ты меня слышишь?

— Да, да, строже, — отозвалась Тоня. — Тебе что, перед ребятами совестно возвращаться? Они, наоборот, сочувствуют. Поговори с ними, убедишься...

— А чего мне ребята! Я сам большой. Уж если совеститься, так перед нашими. Ты представляешь, что скажет Чернышев или Жихарев? Да и как мы можем подвести всех? Мне стройку надо кончить. Нет, это...

Тоня, смеясь, зажала ему рот.

— Ладно, ладно, успокойся, не торопись.

Она старалась скрыть свою досаду. Опять сорвалась, выскочила раньше времени. Она испугалась, заметив, как он разошелся, теперь наговорит, наговорит, а потом из упрямства будет стоять на своем. И вообще убеждать его должна не она, а то, чего доброго, подумает, что она старается ради себя. Вот когда ему сам Логинов предложит остаться... Тоня понимала, что Игорю необходимо какое-то оправдание перед своими энтэсовскими, и больше всего надеялась на Лосева.

Она заставила его отправиться к Лосеву завтра же, с утра.

Он не возражал, надеясь выпросить у Лосева кое-что из старого оборудования для своих мастерских. Соображение это жило в нем в течение всего разговора с Лосевым, заставляя сдерживаться и хитро избегать определенных ответов.

Встретил его Лосев с искренней радостью, которая не могла не тронуть Игоря и которая совпала с его счастливым и добрым настроением. Было приятно слышать в дружеских словах соболезнование судьбе «Ропага», трудностям автоматизации, жалобы на нехватку талантливых людей, с которыми можно было бы по-настоящему развернуть эту работу. Ибо, например, Сизовой эта задача явно не по плечу. Сколько она ни бьется, без помощи Малютина ничего не выйдет. Несостоятельность ее теперь очевидна уже для всех, не только для специалистов. Жалко ее, бездарный она инженер и, как всякая честолюбивая бездарность, пускается во все тяжкие. За то, что Лосев защищал Малютину, она такие тут интриги раз-

вела против Лосева, сумела набросить тень даже на отдел. Клевета прилипает легко, отодрать ее трудно.

Слушая Лосева, Игорь почувствовал себя в какой-то степени ответственным за будущность новой автоматки. Программное управление, быстроеходный привод, фотоэлементы — сами термины, слова, прикосновение к миру, от которого он был оторван, невыразимо долновало. И тут же Лосев с беззастенчивой прямоотой упомянул о премии в восемь тысяч рублей, половина которой причитается Игорю, разумеется при условии, если он лично включится в работу. Сумма нешуточная, отказать от нее было не так-то легко.

Вернулся он смущенный и растревоженный.

С затаенной радостью Тоня почувствовала, как он волнуется, впервые став перед реальностью своего возвращения на завод. Горячась, он доказывал Тоне всю нелепость, невозможность такого решения. Сдерживая себя, она спокойно ответила:

— Смотри сам, тебе видней.

Подчиняясь какой-то смутной надежде, Тоня вечером, после совещания, предложила поехать к Писаревым.

Энергичный, веселый Писарев даже по виду казался поздоровевшим. Он совершенно преобразился. Ему поручили расчеты обмоток сверхмощного генератора. Еще не утоленная, нервная радость возвращения бурлила в его голосе. Он поминутно сажал к себе на колени непоседливую четырехлетнюю дочку, целовал руку жены, хлопотал вокруг Тони, показывал Игорю оттиски своих статей.

Жена его Манюся оказалась маленькой, верткой блондинкой, пухлощечкой, с симпатично вздернутым носиком и красивыми, круглыми, как у птицы, глазами. Она суетливо болтала, не успевая вставлять знаки препинания, перескакивала с предмета на предмет, так что уследить за ходом ее мыслей было невозможно. Вдобавок она из всех сил старалась щегольнуть специальными словами, часто забавно путая их значение. Игорь чуть не прыснул, услышав:

— Женщина хорошо одета тогда, когда никто не замечает ее платья. Мне импонируют такие коллизии.

Писарев следил за женой обожаящим взглядом, умилялся ее «коллизиям», анекдотам, синим, расшитым драконами штанам, в которых она носилась по комнате. Он был счастлив и, как будто стесняясь своего счастья, усиленно расспрашивал Игоря о ходе посевной. Видно было, что ему хотелось, чтобы дела в мастерских после его отъезда шли хорошо, даже лучше, чем при нем. Тревога Игоря за перебои в строительстве, за многочисленные аварии вызвала у Писарева, кроме сочувствия, еще и подавленный стыд. Было совестно, что он теперь посторонний всем этим тревогам, что он расспрашивает о них, сидя здесь, в уютной городской комнате.

— Подумаешь, проблема галактики мира — ваши мастерские! — встревоженно вмешалась Манюся. — Ты, слава богу, Юрочка, решаешь здесь актуальности поважнее. Там и без тебя справятся — верно, Игорь Савельич?

— Конечно, конечно, — поспешно подтвердил Игорь и принялся описывать новую льносушилку, построенную Пальчиковым.

— Пусть они вас всех благодарят, — снова взбудораженно и как-то опасливо перебила его Манюся. — Вы и так много сделали для подъема благосостояния деревни.

Игорь смотрел на ее быстрый, покрашенный рот и думал: это плохо, когда уступаешь и возвращаешься ради любви. Нет, не любви, поправился он, ради женщины. Настоящая любовь может все отдать, всем пожертвовать, но она ничего не уступает.

Перед ним возникла Надежда Осиповна, зеленый огонек ее злых и грустных глаз, когда она говорила о Писареве. Он вспомнил о ней с нежностью и, глядя на Писарева, на его жену, подумал, что, несмотря ни на что, надо жить так и любить так, чтобы не жалеть о своих поступках.

— Не понимаю, Тоңечка, — говорила жена Писарева, — сколько вы там мыслите еще оставаться? Вам тоже надо думать в перспективе. С вашими данными в этой труппе!..

— Манюся! — сказал Писарев, и в его окрепшем голосе прозвучало такое неожиданно гневное, что Манюся съежилась, и что-то жалкое и неуверенное на мгновение приоткрылось в ней.

Возвращаясь от Писаревых, Игорь сказал:

— Как он мог из-за этой Манюси... Манюся! — удивленно повторил он. — И ведь не любит она его.

— Отчего ты так думаешь?

— Вот так вопрос! Ведь она не поехала с ним. Тоня задумалась.

— А может быть, потому и не поехала, что любит, — заглущая свою неприязнь к этой Манюсе, сказала она. — В результате кто прав? Она. Видал, как он счастлив? Этого она и добила. Почему ты знаешь, может, ей тут оставаться еще тяжелее было? А она не поехала. Ради него!

Этот неожиданный оборот озадачил Игоря.

— Какое ж это счастье...

— Но ведь он счастлив!

Игорь недоуменно смотрел на нее.

— Он стыдится своего счастья. Что ж это за счастье?

Они перестали спорить, удивленные, что не понимают друг друга.

Снова он был на заводе, снова шел в обнимку с Геннадием и Семеном — снова втроем, как прежде, три парня с Нарвской заставы. Лобастый булыжник дружно откликнулся на их шаг, цветами летели навстречу девичьи улыбки, полосатые

шлакбаумы взмывали перед ними и приветственно гудели электрокары.

Как долго он был лишен этого! Ничто, ничто не заменяет старой дружбы. Годы не прибавляют друзей, они их уносят, разводят по разным дорогам, время испытывает дружбу на разрыв, на усталость, на верность. Редает круг друзей, но нет ничего дороже тех, что остаются...

Уж как напропалую, казалось бы, рассорился он с Генькой, а встретились — и все забыли, схватили друг друга за плечи, любясь и сияя, тузили друг друга, и только сознание того, что они мужчины, помешало им расцеловаться.

Семен неузнаваемо превратился в франта. Галстук, ядовитый электрик, модной полоской стекал под шикарной спецовкой. Расческа, трещка, поминутно продиралась в жестких кольцах напомаженных волос, похожих на ворох стальных стружек.

— Зеркальце носит, — доложил Генька. — Черт знает, до чего дошел! Шипром смазывается, как донжуан.

Донжуан и не думал отпираться. Самоуверенно-довольная улыбка расплывалась под его большим, мягким носом. Косолапый, некрасивый, с оттопыренными ушами, похожими, по словам Геньки, на ручки сахарницы, он был такой же, как прежде, и совсем другой, словно комната, где переставили мебель; в глаза бросалась не прежняя его некрасивость, а необъятная грудь, выложенные мускулами плечи, открытая доброта. Семен словно распрямился, забыв о своей неказистости.

Видимо, произошло это благодаря Кате. В пику Геньке она принялась всячески обхаживать Семена. До этого ему никогда в голову не приходило, что он может нравиться девушкам. Он весь как-то воспрянул, и тогда уже Катя вдруг обнаружила, что Семен действительно обаятельный, прекрасный парень. Исчезла его конфузливая робость, он стал держаться свободнее, заговаривал у себя в цехе с женщинами, отпускал шуточки, ходил на вечера, и, что поражало его самого, другие девушки тоже улыбались ему, не отказывались танцевать с ним и слушать его рассказы о фотоэлементах и ракетах.

Генька тоже изменился, в выражении его лица, в жестах появилась сосредоточенность.

Оба они нашли Игоря возмужавшим, голос — командирским, жесты — начальственными. Словом, ответственный мужчина. Семен завидовал его загару, и палке, и хромоте — форменный ветеран-рубака, танкист или летчик. Было в нем нечто суровое и романтическое.

Они шли по берегу залива. Экскаваторы рыли котлован под фундамент новой сборочной. Тяжелые облака пыли наползали на радужную, в нефтяных потеках воду. Громыхали железные корыта самосвалов. Переплеты фасоннолитейного наливались закатной киноварью плавки.

И завод тоже изменился. Он помолодел, сбросил с себя лишний жирок. Он был весь на ходу, в пути. Он энергично разгребал последние свалки. Мощная железобетонная эстакада связывала новые корпуса. Огромные объемы застекленных цехов, легкие виадуки, ажурные краны составляли пейзаж величественный и волнующий, как творение могучей природы. Не верилось, что такое мог сделать человек. На этом фоне молоденькие, весенней посадки клены вдоль кузнечного цеха выглядели хрупким созданием человеческих усилий.

Игорь готов был целый день бродить среди родных безымянных заводских площадей, проспектов, проулков, подмечая свежий тес желтых ворот сборочного, новую подстанцию, незнакомую рыженькую газировщицу в электроцехе, новые насосы, блистающие оранжевыми от сурика корпусами. Он с наслаждением купался в удушливой пыли, скрежете, грохоте, любовался жесткой, неприхотливой травой заводских газонов, осматривал мощные прессы, вздыхал, завидуя, мечтал о том, чтобы переманить к себе заводских мастеров, поставить у себя в мастерских вот такой же шлифовальный и хотя бы этот простенький фрезерный.

Среди огромных, солнечных цехов, богатства машин, инструментов он почувствовал нежность к своим маленьким, бедным мастерским.

Только теперь, сравнивая, он мог оценить напряженность неутомимого ритма, продуманную слаженность гигантского заводского организма.

Это был не просто завод, это был тоже друг, родной, мудрый, к нему можно прийти просто так, вечером, в гости, когда трудно на душе, посидеть где-нибудь в прокатке...

Приглядевшись к возбужденной радости Игоря, Генька внутренне окончательно согласился с Тоней.

— Бывает так, — доказывал он Игорю, — что сегодня человек нужнее в одном месте, а завтра — в другом. Мобилизовали тебя в деревню, теперь могут мобилизовать на завод. Движение — форма существования материи.

Улучив минутку, когда они остались вдвоем, Семен выставил совершенно неожиданное соображение:

— Если ты будешь работать вместе с Верой, ты пошуруешь в пользу Геньки. Парень мучается. Нам с тобой надо чуткость проявить.

Один за другим удары настигали Игоря, разбивая его твердую решимость. И наносили эти удары любимые люди, его завод, который тянул к себе, терзая своей радушной красотой.

Его расспрашивали, хвалили, называли молодцом, но тут же, подмигнув, не удерживались и хвастались, простодушно разжигая в нем зависть:

— Видал, брат, как мы развернулись? Заказы какие! На двадцать первый век работаем!

Посреди ночи он разбудил Тоню.

— Стоит мне уйти, как они там сразу снимут людей со строительства, — сказал он. — Боюсь, что они и сейчас поснимали.

— Да, конечно, это веская причина, — усмехнулась Тоня.

— Пусть не причина, но не могу я себе представить, что кто-то другой первым войдет в новую мастерскую. И вообще они без меня там все напутают. Да нет, это не то! — все более раздражаясь от бессилия передать свои чувства, говорил Игорь. — Ведь ты сама расстроилась, когда увидела коровник в Любичах. Ну, а кто же все это переделает?

— Ты считаешь, без тебя там не справятся?

— Справятся, они-то справятся, а вот я без них... Ты знаешь, Тоник. — Он обнял ее и зашептал: — Работа там мне много дала. Не в смысле специальности, тут, конечно, технически интереснее, а внутренне тянет меня туда. Душа...

— Но ты ж мне сам, помнишь, перед моим отъездом говорил, что с удовольствием бы вернулся.

— Я?.. Ах да, да, но ведь именно то и здорово, что мы с тобой теперь такие, что можем взять и остаться там.

Тоня повернулась спиной, не отвечала.

— Если бы мы там уже все наладили...

— Поступай как знаешь.

Он робко погладил ее плечо.

— Вот когда мы наладим...

Она дернула плечом.

— Не мешай мне спать!

Он покорно отодвинулся на край кровати.

Она жаждала, чтобы он произнес хотя бы еще одно слово, тогда бы она высказала ему все, что у нее наболело. Но он лежал тихо. Потом он осторожно встал, сел на подоконник, закурил.

Жгучая до слез обида вскипела на сердце у Тони. Вот к чему привели все ее хлопоты, старания! Он ничего не оценил, не поблагодарил. А она-то бегала, унижалась перед этой Верой, убеждала ребят, все, все приняла на себя перед Генькой, перед всеми. И что же? Ради чего? Чтобы и от него получить презрение? Холодный, черствый, совсем чужой человек! Она прислушалась, в точности представляя себе, как он сейчас сидит на подоконнике, подперев кулаком подбородок. Со злорадным удовлетворением она почувствовала немую борьбу, которая сейчас происходит в нем. Нет, она и не подумает помочь ему. Она не встанет, не подойдет к нему.

Она оставляла его одного со всеми его сомнениями.

На подоконнике лежал блок, тот самый блок с роликами, который Игорь перед отъездом заказывал для абажура и который он так и не успел получить. Его поразило, что Тоня взяла этот завалившийся у ребят блок, принесла домой. Он осмотрел комнату, отмечая аккуратно расставлен-

ные книги, распоротые куски платья на столе, занавески на окне, — никаких примет скорого отъезда.

В тишине короткой, светлой ночи оба они не спали, оба были одиноки, мучаясь одним и тем же.

Игорь встретил Веру возле «Ропага».

Вера сидела за новеньким, крашенным серой эмалью пультом, проверяя автоматику. Отблески цветных сигнальных лампочек скользили по ее бледному лицу.

Они оба испугались и немедленно принялись говорить о станке. К счастью, подошли Семен и Генька, и разговор стал общим — подчеркнуто деловой разговор людей, которых интересовал исключительно ход работы над станком.

Детали автомата еще были в работе. Игорю удалось увидеть лишь несколько готовых узлов — поворотный механизм и патрон. Почему-то он представлял их иными. Осматривая станок, обросший до самого портала гибкими шлангами и кожухами, он пытался вообразить, как будет выглядеть в смонтированном виде его автомат. Вера развернула перед ним чертежи. Там были существенные поправки по сравнению с его вариантом.

— Это ты внесла? — спросил он Веру.

Она кивнула. Ему стало досадно. Будь он здесь, на месте, он вместе с конструктором без ее помощи довел бы проект до рабочих чертежей.

— Долго вы тут возитесь, — сказал он. — Я-то надеялся, что все готово.

Семен любовно погладил пульт.

— Высшая техника! Это тебе не грабли-мотыги.

— Долго? — переспросила Вера.

Генька незаметно дернул Игоря за рукав, укоризненно крикнул.

— Практически у вас тут, конечно, были некоторые тормозящие обстоятельства, — поправился Игорь.

— Ты тоже был этим обстоятельством, — сказал Геннадий.

— Я? Ну, знаешь, если вспоминать старое...

— Не надо вспоминать, но и сосунком тоже нечего прикидываться.

— Ого! У вас еще хватает совести попрекать Малютину, — произнес за их спинами Лосев. Как всегда, он появился бесшумно и незаметно. — Без его автомата, Вера Николаевна, вы бы на мели сидели. Он вам помог, а вы? Вот она, благодарность!

— Это еще вопрос... — начал Генька.

— Не подрессоривай, — прервал его Лосев. — Комитет комсомола должен поднимать таких парней, как Малютин. Налицо высшая сознательность. Он бескорыстно передал Сизовой свое изобретение.

Игорь покраснел.

— Я тут небольшую роль... Если бы мне Семен не написал, я бы до сих пор...

Генька резко обернулся к Семену.

— Так вот в чем дело! Это, значит, ты удружил?

Тон его заставил Игоря насторожиться.

— Что значит «удружил»?

Вера взяла Игоря за локоть.

— Не слушай их. Я тебе очень благодарна.

— Нет, пусть он скажет, что это значит «удружил».

— Как будто вы им свинью подложили, Игорь Савельич, — засмеялся Лосев.

— К вашему сведению...

— Геня! — крикнула Вера.

— Нет, хватит! К вашему сведению, товарищ Лосев, Сизова самостоятельно разработала тот же самый автомат. Ты, Игорь, мог и не присылать. Ей лично даже еще лучше было бы. Если уж говорить о благородстве, так Сизова...

— Жалкая версия. — Лосев громко рассмеялся. — Да кто вам поверит? Да где Сизова до сих пор была со своей разработкой? Нет, каковы ловчицы! — Он заговорщицки подтолкнул Игоря и аппетитно потер розовые, туго обтянутые кожей руки.

Геннадий, пристально глядя на Игоря, сказал:

— Нам поверят. Мы можем легко доказать. А впрочем, вам, товарищ Лосев, мы ничего доказывать не станем. Ваше отношение к работе над «Ропагом» известно. Вы только и делали, что тормозили и мешали. А Малютину мы докажем. Он разберется.

Лосев положил руку Игорю на плечо.

— Малютин не маленький. Он разберется, с кем ему работать, кто его истинные друзья, а кто интригует по всяким личным мотивам. Вы представить себе не можете, Игорь Савельич, что это за компания. Сизова сама признала вас автором, приняла вашу разработку, и вот, пожалуйста... — Он развел руками. — Уж на такое я не считал вас, Вера Николаевна, способной. А вам, Рагозин, стыдно! На поводу у Сизовой пошли. Элементарной порядочности у вас нет. Продать товарища своего...

Игорь не слушал его. Облизнув пересохшие губы, он спросил медленно, с трудом выговаривая каждое слово:

— Вера, ты сама додумалась?

Она опустила глаза.

— Вера! — хрипло крикнул он. — Генька! Чего вы молчите! Семен!

— Я не в курсе, честное слово, — пробормотал Семен.

Игорь схватил Геньку за куртку, рванул к себе.

— Кто-то мне должен сказать. Генька, ты слышишь?

— Да. Да. Она сама. Так тебе и надо. Какого черта ты сразу не отдал! — с яростью сказал Геннадий. — Какое право ты имел увозить с собой?

Жахнуть бы тебя за это... — Он с силой ударил кулаком по руке Игоря.

— Бросьте вы, опять за старое, — примирительно пробасил Семен.

Игорь оттолкнул его.

— Выходит, это правда?

— Игорь Савельич! — предостерегающе сказал Лосев.

Игорь отступил, прищурясь оглядел всех.

— Игорь, не нужно, — обеспокоенно сказала Вера. — Это все Генька. Он просто так... Он... он выдумал все это. Ты же сам видел: тут все по твоим чертежам. Геня!

Ее требовательный, тревожный призыв заставил Геннадия опомниться.

— Ладно, Игорь, не стоит, — с усилием сказал он.

Глаза Игоря потемнели. Сквозь прищуренные веки они усмешливо полоснули Веру.

— Врешь! Ты сейчас врешь! — Он повернулся к Лосеву, лицо его стало острым и твердым. — Вы, Георгий Васильевич, против интриг. А знаете, братцы, почему я Вере не отдал?.. Товарищ Лосев, главный механик завода, меня уговорил. В день отъезда пришел я к нему, принес все, и он меня уговорил взять с собой, увезти, не отдавать Сизовой. Я был дурак. Я по-скотски поступил. Правильно, меня жахнуть надо! Только вы, Георгий Васильевич, про личные мотивы молчите. Вам наплевать на интересы завода. Я ваши поступки могу теперь на составляющие разложить...

Что-то кричало в нем: стой! погоди, что ты делаешь! С острым сожалением мелькнуло намерение выпросить у Лосева инструмент — маленький фрезерный, ножницы, но тотчас он вспомнил и другое, то давнее, позорное, когда он из-за комнаты побоялся выступить на защиту Веры. И, подхлестнутый этим воспоминанием, Игорь заговорил еще резче, рассчитываясь за все.

Лосев улыбался. Он улыбался изо всех сил. Обвинения Малютину ничего не стоили, плевать он хотел на эти обвинения, тот разговор происходил наедине. Можно сказать, что Малютин просто хочет свалить свою вину на него, Малютину выгодно как-то оправдать свой низкий поступок. Мозг Лосева привычно выстраивал контрдоводы, защиту, находил нужные аргументы. Но все это происходило само по себе, машинально, не успокаивая, потому что страшен был не Малютин, не этот юнец, страшно было, что они больше не боялись его, Лосева. Страшнее всего было то, что не боялся его сам Малютин, который зависел от него во всем, который собирался с ним работать, который должен был заискивать и делать все, что угодно, чтобы Лосев помог ему остаться, — тот самый Малютин, который всегда отлично знал, что можно, чего нельзя, куда смотреть и кого слушать.

— Вы с ума сошли? На что вы рассчитываете? — сказал Лосев. Тщетно пытался он отыскать в глазах Игоря безрассудную запальчивость или

замешательство. Все что угодно, но только не эта спокойная, убежденная непримиримость!

Никто не ответил ему. Они вчетвером продолжали молча смотреть в его лицо. И вдруг в этой схватке произошло что-то, не сопровождаемое ни единым жестом, ни единым словом, — что-то, от чего Лосев съехался, бессильно усмехнулся и, повернувшись, пошел из цеха.

— Ну и сколопендра, — сказал Геннадий. — Здорово ты ему выдал.

Вера устало вздохнула.

— Что вы наделали? Теперь ты себе, Игорь, все так осложнил, что...

Она смолкла, пристыженная суровостью всех троих.

Больше они не успели ни о чем поговорить: пришла нормировщица и сообщила, что Малютина срочно разыскивает директор.

Вслед за Игорем в директорский кабинет вошел Юрьев. Тяжело дыша, он повалился в кресло, придвинул к себе жужжащий вентилятор, блаженно обдувая лицо.

С первых же слов дяди, отвечая на его вопросы, рассказывая ему о мастерской, о ходе совещания, Игорь почувствовал, что все это не главное, а всего лишь разбег к тому решающему, что возникнет с минуты на минуту, к чему он должен быть готов и к чему он совершенно не был готов, хотя ждал давно. Столкновение с Лосевым разметало его мысли, все еще лихорадило его, мешая сосредоточиться. И когда наконец дядя предложил вернуться на завод, Игорь выслушал его почти безразлично. Единственное, что его поразило: при чем тут Сизова? Он с жаром кинулся на это обстоятельство, пытаясь у дяди подробности.

— Докладную записку подала и мотивацию развела невероятную, — сказал Леонид Прокофьевич. — Без твоего изобретения промышленности захиреет, а если тебя не вернуть, так вообще жизнь на земле прекратится... Тебя что смущает? С вышестоящими организациями я договарюсь. Насчет жилплощади ты не беспокойся, закрепим ту же комнату.

— Да, конечно хорошо, — машинально согласился Игорь и, произнеся эти слова, вдруг постиг смысл сказанного дядей и значение этой крайней решающей минуты. И того, что могло наступить за ней, если он согласится. И того, что никогда не наступит, если он откажется. Рука его как бы легла на тот рычаг, который мог круто и навсегда повернуть его жизнь, и само прикосновение к этому рычагу волновало.

— Подлюбуйся, Юрьев, нет, ты подлюбуйся! — вскричал Леонид Прокофьевич. — Что за физиономия у него, как будто мы его грабим!

Игорь тупо посмотрел на Юрьева.

— Нет, зачем же, наоборот... Я вам очень... Спасибо... — залепетал он.

Леонид Прокофьевич нахмурился.

— Что-то я не пойму тебя.

Игорь погладил полированную гладь стола.

— Нельзя мне. Нет, не могу я.

— Это почему?

— Почему? — недоуменно повторил Игорь. —

А-а, так ведь Сизова и без меня справится, — вспомнил он. — Она же сама до всего додумалась. Это она просто так. Приоритет соблюдала. На самом-то деле я вовсе не нужен. Если бы раньше...

— Ну, ну, не скромничай! — оборвал его Леонид Прокофьевич. — Нужен или нет, мы тоже разбираться. Факт, что котелок у тебя варит.

— Кстати, относительно ремонта вообще надо в корне менять, — вдруг обрадованно вспомнил Игорь, зачем-то изо всех сил стремясь доказать, что и кроме этой несчастной разработки у него есть еще кое-что и он действительно мог бы пригодиться заводу. С поспешностью принялся он излагать продуманный в Коркине проект реорганизации ремонтного дела на заводе по образцу ремонтных баз в сельском хозяйстве. Юрьев выключил вентилятор, перебрался поближе. Зазвонил телефон. Леонид Прокофьевич перевел переключатель на секретаря, вышел из-за стола и заходил, одобрительно побрякивая, веселый, быстроглазый, похожий на прежнего дядю. Игорю, несмотря на официальность директорского кабинета, все хотелось назвать Леонида Прокофьевича, как раньше, просто «дядя».

— Ребята из проектного института высказывали такую же идею, — сказал Юрьев, — но она у меня как-то срикошетила.

— Ремонтный завод, он должен быть междуправомочный, — сказал Леонид Прокофьевич. — Попробуй запряги разные министерства в одну телегу.

Юрьев досадливо запыхтел:

— Ничего, скоро за них возьмутся!

Игорь вытащил из кармана листок, протянул Юрьеву.

— Чернышев, наш директор, тут и экономию подсчитал.

Дядя надел очки и заглянул через плечо Юрьева.

— Ясно! Нас провинция на буксир берет! Централизованный ремонт! Тридцать процентов экономии! Вот вам и Малютин, ученик Лосева. И еще ломается, как красная девица: «я, мол, такой-сякой, грошовый».

Игорь обрадованно покраснел, но тотчас, отвечая на выжидающий взгляд дяди, умоляюще замолотил головой.

— Нет, я не могу.

— Понравилось там? Завод свой разлюбил?

Завод?.. Завод для него — это все равно что вернуться на родину. Заниматься вместе с Верой. Теперь между ними не стоит ничего. И дядя тут же. И Юрьев. Додаться с Лосевым. Автомати-

ческие линии. Целые цехи автоматов. Только перестук реле да вспыхивающие сигнальные лампы...

— Там хлеба до сих пор не хватает... В некоторых колхозах... — сказал он. — Чего ж там хорошего! Там еще есть места, где очень плохо. Никакого сравнения.

Дядя перегнулся через стол, с интересом вглядываясь в Игоря.

— Может, ты стесняешься на завод возвращаться?

— Увидеть, как будет работать его автомат. Самому запустить «Ропак», самому налаживать,ковыряться...

— Нет, нет, не то. — Игорь сморщился, замал рукой.

— Так в чем же дело?

Игорь с отчаянием посмотрел на Леонида Прокофьевича. Ну как же он не понимает?

— Леонид Прокофьевич, не нужно, — тихо попросил Юрьев.

— Да, да, не нужно! — подхватил Игорь. — Не могу я, нельзя мне сейчас оттуда... Мне там с камнедробилкой надо покончить. И потом мастерские достроить. Я ничего еще не успел...

«При чем тут мастерские? — тотчас подумал он. — Нет, это не то». И что бы он ни вспоминал, он с досадой отбрасывал: все было не то, все оказывалось частностями, мелочью.

— Ты погоди, — сказал Леонид Прокофьевич Юрьеву. — Тут уж дело семейное. Послушай, Игорь, может, зарплата там выше? Ты не стесняйся.

Игорь разочарованно откинулся на прохладную, скрипучую кожу кресла.

— Какой там выше! Рублей на сто меньше... — Он выпрямился, прижал кулаки к груди. — Невозможно мне оттуда. Через год, через два, когда там лучше станет, а сейчас ни в какую.

Откровенно говоря, Логинов мечтал о переезде Игоря в город. Этот мальчик остался у Логинова единственным близким родственником. Он был для него по-прежнему мальчиком. Неистраченная потребность любви, семьи, отцовства вспыхнула с тем горячим и стыдливым чувством, какое появляется у человека на склоне лет. Мечталось иметь родной дом, куда можно приходиться по вечерам, нянчить внуков, кого-то ласкать, одаривать.

Когда-то дед Логинова, столяр, помирая, тревожился, кому завещать свой инструмент, бутылки с лаком, две плахи красного дерева «ямайки». И у Леонида Прокофьевича скопилось наследство, и немалое. Хотелось кому-то передать свое заветное, мечты, которые не успел воплотить, свою веру, свои взгляды. Перелить свое «я» в чью-то близкую душу.

Наивное стремление к бессмертию? Забота о продолжении рода? Может быть. Он не задумывался над этим.

Но решимость Игоря вернуться в деревню почему-то обрадовала. Тем не менее он продолжал

выспрашивать его, словно желая проверить, из чего растет эта решимость.

Юрьев громко хлопнул по столу.

— Правильно, Игорь! А ты не пытай парня, не сбивай с толку.

Игорь поднялся, чувствуя в себе необычную легкость и свободу.

— За меня не беспокойтесь, — скупо улыбнулся он. — Меня теперь не собьешь. Так как же с централизованным ремонтом? Поставьте вопрос перед начальством. Конечно, такие, как Лосев, будут сопротивляться. Но, может, это даже лучше. Такие люди теперь себя выявляют...

Где-то в глубине прищуренных твердых глаз Игоря, в повороте головы Леониду Прокофьевичу приключилось вдруг упорство, до боли знакомое, логиновское, кровное. Он увидел себя молодым, таким, каким был много лет назад. Он словно возвращался к себе обновленным из, казалось, безвозвратного прошлого. И в этом возвращении была такая награда, такая сила удовлетворенности, что она почти искушала всю горечь несбывшихся желаний, скорбь предстоящего одиночества.

С полусмущенной, смущенной улыбкой он обнял Игоря и благодарно поворошил ему волосы.

Когда Игорь ушел, Юрьев посмотрел на Леонида Прокофьевича и засмеялся. Леонид Прокофьевич сердито насупился, и Юрьев захохотал еще сильнее.

— Что, старче, утерли тебе нос? Ах ты, благодетель!..

— Неизвестно еще...

— Врешь, врешь, все известно. Не ожидал, а?

— Вполне ожидал. Наша кровь сказывается...

— Ой, уморил! Кровь! А самому от ворот поворот со всеми твоими подарочками, и подходами, и с твоим анализом крови.

— А чего ты сияешь, чего сияешь? — огрызнулся Логинов.

— Добрый дядюшка! Ну и племянничек! — ликовал Юрьев. — Как он побоку твою рухлядь филантропическую!.. Молодец! Ну и молодец! А по Лосеву как он прошелся! С каким намеком! Нет, полюбуйте на этого патриарха. Приготовился принять блудного сына.

Леонид Прокофьевич раздраженно прервал его: — Ты без конца смеешься. Половина рабочего дня у тебя уходит на смех!

— А у меня ненормированный день.

— Ты хоть свое собственное время пожалей.

Юрьев наставительно поднял палец.

— Да будет тебе известно, что сон и смех в срок человеческой жизни не засчитываются.

— Централизованный ремонт... Черт знает что такое! — Леонид Прокофьевич удивленно и довольно пожал плечами. — Ты, кроме своего смеха, понимаешь, что это все значит?

Юрьев хитро прищурился.

— Что именно? Ремонт?

— Да нет, не ремонт, — торжествующе сказал

Леонид Прокофьевич. — Это значит, что есть кому все имущество наше передать. Знамя наше.

— Эва, обнаружил! Да они его уже сами несут, без всякой передачи!

— А ты сам, разве ты ожидал? Ты тоже, брат, того... не доверял. Охранять стал его от соблазнов. Не искушай, мол. Слышал, как он тебя успокоил?

Юрьев почесал затылок.

— Послушай, директор, а ведь с такими наследниками нас с тобой скоро начнут оформлять на пенсию! — И они добро, довольно и чуть грустно улыбнулись друг другу.

В подъезде заводу управления Игорь столкнулся с Ипполитовым. Он хотел пройти мимо, но Ипполитов задержал его.

— Слышал, что вы возвращаетесь к нам.

Игорь улыбнулся.

— Нет.

Ипполитов испытующе взгляделся в него.

— Так, значит, уезжаете?

За рассеянным безразличием этих слов чувствовался напряженный вопрос. Игорь инстинктивно насторожился.

— Да, уезжаем.

— Что ж, и Антонина Матвеевна едет?

— А вы как считали?

Ипполитов принужденно улыбнулся. Улыбался только его маленький, красиво очерченный рот. Игорь шагнул, собираясь идти. Но, взглянув на Ипполитова, увидел, что улыбка его стала скверной.

— Для Антонины Матвеевны это будет несчастьем, — сказал Ипполитов.

Игорь стиснул палку.

— Вам-то что? Вы-то о чем заботитесь?

Ипполитов мягко, с оттенком покровительства взял Игоря за локоть.

— Я бы мог ответить, что забочусь о вас же. Допустим, Антонина Матвеевна уедет с вами. Но там все время ее будет грызть мысль об упущенной возможности остаться. И это, как коррозия, будет разъедать ваши отношения. Хотите уйти? Это легко. Не торопитесь. Гораздо труднее иметь мужество выслушать до конца. — Он говорил все быстрее, переходя от вкрадчивости к страстной настойчивости, напуская на себя иронию, которая тотчас прорывалась вызывающей злостью. При этом Ипполитов, выгибая длинную, тонкую шею, выжидательно и с любопытством засматривал Игорю в лицо. — Сейчас-то вы считаете себя героем. На самом же деле совершаете поступок, о котором впоследствии будете жалеть.

— Вы что ж, хотите, чтоб я остался? — с интересом спросил Игорь. — Вам-то от этого какая выгода?

Ипполитов оживленно усмехнулся.

— Вот-вот, я ждал этого вопроса. Именно никакой! Видите, насколько я бескорыстно дей-

ствую! Более того, вам кажется, что я действую вопреки своим интересам. Вроде рублю сук... Впрочем, если говорить откровенно, я просто хочу сдержнуть с вас павлиньи перья, всю мишуру самопожертвования, которой вы себя украшаете.

— Что ж это вам даст?

— А то, что вы перестанете выглядеть героем.

— Перед кем? — деловито спросил Игорь.

— Прежде всего перед самим собой и перед Антониной Матвеевной.

— Ага, проясняется! А если я вас пошлю подальше со всей вашей психологией?

— Это, повторяю, легче всего. Я готов напороться на любую грубость. Как только вы сказали мне, что уезжаете, так я и счел себя вправе. А почему? А потому, что из вашего решения следует, что вы не любите Антонину Матвеевну. Да, да! Погодите, я убедился, что вы себя любите куда больше. А впрочем, и себя-то вы любите нелепо, уродливо, подавляя в себе все нормальные чувства. Вы продукт того же типа, что и Сизова. И такая женщина, как Антонина Матвеевна, не может чувствовать себя с вами счастливой. Она вам не пара. У вас совсем разные понятия о жизни.

Этот странный разговор все больше занимал Игоря. Постепенно он переставал ощущать странность того, что спокойно выслушивает признания Ипполитова и слышит из его уст имя Тони. Он удивлялся себе, куда исчезла его прежняя робость перед Ипполитовым, красавцем, начальником цеха, инженером, которому он всегда втайне завидовал.

— Вы считаете, что вы правы, и презираете меня, — говорил Ипполитов. — Не так ли? Но, согласитесь, быть неправым куда легче и естественней. Вы обречены на поражение. Вам никогда не удастся добиться полностью того, чего вы хотите. Это в лучшем случае, а скорее всего вас согнут, сломают, заставят отступить от цели...

Игорь слушал его внимательно, но Ипполитов вдруг замолчал и усмехнулся, показывая, что он увлекся и весь разговор рассчитан не на Игоря, который не в силах дать сколько-нибудь серьезный ответ.

— А я не спорю, — с веселой задумчивостью сказал Игорь. — Вам, может быть, и легче, а лично мне куда приятнее считать, что я прав, и драться за свою правоту. Ведь легче не значит счастливее. Сказать, зачем вы затеяли этот разговор? — Игорь впился глазами в Ипполитова. — Бойтесь, что мы уедем и останетесь вы голеньким перед самим собой! Ведь вы можете существовать, когда кругом плохо, скверно, гадко. А так все лопнет. Все ваши хитрые рассуждения — от страха.

Ипполитов отвел глаза, усмехнулся.

— Ищите утешения? Да, нелегко быть жертвой долга.

— Долг, обязанность — это хорошие качества. Нечего их стыдиться.

— Но есть еще свобода.

— От чего? От обязанностей? Шип вам! Вот я свободен, — с внезапным удовольствием сказал Игорь. — я знаю, почему мне надо ехать: мне хочется ехать, и я еду. Вы знаете, Ипполитов, свобода — это когда человек поступает по совести.

Ипполитов насмешливо покривился.

— Свобода суть осознанная необходимость.

Игорь подумал.

— Правильно! — обрадовался он. — Только для вас это пустые слова из учебника... Жаль мне вас. Неужели нет у вас настоящей цели? Для чего вы? Для себя? Я тоже раньше был для себя. Но я тогда был щенком, мальчишкой. А вы уже взрослый человек. У вас это сознательно. Жалко, что Тоня вас не слышит. Ей было бы полезно. Теперь даже ревновать ее к вам невозможно. Я бы сам себя презирал, если бы приревновал ее к вам.

Они подошли к проходной.

— Мне очень жально, что я уезжаю, — сказал Игорь, улыбаясь от озорного удовольствия. Было неожиданно, что он мог говорить с Ипполитовым тоном спокойно поучающего превосходства. — Но я надеюсь, что вы сами разберетесь раньше, чем в вас разберутся. Вас тоже полезно было бы встряхнуть, послать куда-нибудь. У вас, наверное, слишком гладенько все получалось.

Вечером собирались зайти ребята, чтобы всем вместе отправиться в Дом культуры. Тоня купила бутылку вина, наварила картошки и сейчас чистила на кухне селедку. Сегодня исполнился ровно год с того дня, как Игорь и она стояли тогда, на мосту. Игорь, разумеется, не помнит этой даты, и никто из ребят понятия о ней не имел. То был ее собственный, тайный праздник. Кроме того, она была уверена, что сегодня произойдет разговор Игоря с дядей и все решится.

На кухне хозяйничала Олечка и сидел, покуривая, старик Коршунов, дожидавшийся Трофимова. Они весело болтали, и все бы ничего, если бы Коршунов не принялся вдруг нахваливать Тонию за то, что она поехала в деревню и продолжает учиться.

— И снабжение там хреновое еще. Верно, Тоня?

— Никакого там снабжения! — с гордостью сказала Тоня. — Одни консервы. Попробуй отмой руки от селедки! Здесь вот горячая вода.

— Разница громадная, — сказал Коршунов. — Особенно между северными колхозами и, например, Кубанью. Там колхозы богатые. Нет, вы, ребята, молодцы, в самую нашу слабинку забрались.

— Да, легко вам тут нахваливать! — вмешалась Олечка. — Вас бы туда!

— Ты молчи, квочка! — внезапно рассердился Коршунов. — Ты ничего не можешь понимать. У тебя кухонная позиция. Я, к твоему сведению, эту самую дорожку в МТС первый протоптывал.

Ты, Тоня, на втором курсе? А у меня тогда вся диссертация четыре класса составляла. Послали меня по партийной мобилизации в двадцать девятом году. Это ж сколько, Тоня, тебе было? Да выходит, тебя еще и в заготовке не существовало. Ты кем там работаешь?

Тоня смешалась.

— Плановиком.

— Вот видишь! А меня кем послали? Директором! Куда? На Дон. Никто и ведать тогда не ведал, что за штука такая МТС. Только-только первые тракторы наловчились выпускать. «Фордзон-путиловец». Слышала такую марку? Просто удивительно как вы ничего не знаете! Небось про римскую катапульту учат, а наш «Фордзон-путиловец», милый мой, это была самая сильная катапульта из всех катапульт. Практику мы, конечно, проходили на американском «Фордзоне». Поскольку свои еще в процессе освоения были.

Кто я тогда был? Мастер-наладчик. Известно, нашему брату, мастеровому, к машине не привыкать. Машина есть машина. Одна на станине крутится, другая колеса вертит. Тем более практика у меня богатая: в гражданскую на броневиках катался. По сельскому хозяйству я, конечно, слабее. Тут, в Автове, в голодное время огорошки ковырял, картошку, морковь — вот и вся моя агротехника. А там, на Дону, понятно, масштабы другие. Земля сумасшедшей силы, всякие бахчи и буквально тропические овощи. Народ какой? Известно, большинство казаки. Много кулачья такого, прямо из наглядной агитации. Вот подходит ко мне такая борода с лампасами. «Жаль, говорит, мало мы вас, питерских, в девятьсот пятом нагайками били». В девятьсот пятом они нагайками, а в девятнадцатом вот такой корниловский гад шашкой порубал брата моего. Стою, значит, я перед ним и замечаю: лезет моя рука в карман, где наган лежит. Ну, я, конечно, совладал с ней, сунул ее за спину и отвечаю ему с полным достоинством: «Вы нас нагайками и шашками, а мы вас техникой». Не мог я давать себе воли, потому что — власть. Представитель пролетарской диктатуры. Собирали мы тогда деньги на тракторы.

— Как так деньги? — спросила Тоня.

— Акции Тракторцентра! Опять ты, конечно, слыхом не слыхала. Ну, понятно, пришлось перешибать вражескую агитацию. Все же поверили нам мужики, не нам, советской власти поверили. Потом прислали нам двадцать тракторов. Собирали мы их прямо на берегу Дона. Каталогов не было. Под пасху выпустили в поле. Народ, который в церковь шел, позабыл всю свою святость, побежал за тракторами. Вот тогда-то кулачье почувствовало, что дело и впрямь пахнет керосином. И началось... Уборка картошки идет — агитируют: рубай картофель, чтобы не забрали! Большевики трусики нам хотят навязать. Что за трусики, до сих пор не пойму, но очень эти трусики на народ подействовали. Верно, считали, что при комму-

низме в трусиках ходить будут. В молотилку зайца засунули. Ну, заяц, известно, трепаться не любит... Сутки простояли: ремонтировали молотилку. Заместителя моего по политчасти — тоже с нашего завода, Сережа Литов, — сожгли в риге. Такая работа была тогда в МТС...

— А у нас, думаете, нет борьбы? Знаете, какой трудный сев был этой весной! — внезапно заволновалась Тоня. — Такое напряжение! Я тогда диспетчером работала. Здесь я что, мелочь, а там у меня все хозяйство находилось в руках...

— Нет, моя сковородоси, та в избе томилась. Уеду я куда, а она запрется на все замки, сидит, дрожит. Детей двое, за них боялась... А все же в город не просилась. Хотя и малой грамотности баба, но сознание рабочее имела...

Бесхитростная, нежная гордость Коршунова напомнила Тоне Анисимова и Жихарева в минуты, когда они с таким же горделивым удовлетворением вспоминали о военных и послевоенных годах в деревне. И она подумала, что через много лет нынешние деревенские дела, наверное, тоже будут назаться увлекательными и героическими. Если бы Коршунов узнал сейчас, что Малытины остаются в Ленинграде... Она сморщилась, помотала головой. С минуты на минуту мог вернуться Игорь. Он войдет на кухню и начнет рассказывать, и она почувствовала, что если это услышит Коршунов, радость ее будет испорчена.

Торопливо обмыв руки, она ушла в комнату.

Впервые она явственно представила, что произойдет сегодня вечером, когда ребята узнают о возвращении Игоря на завод. А завтра, когда она придет в КБ, как ее встретят там девушки, которым она расписывала жизнь в Коркине? Представила себе ухмылку Кости Зайченко и взгляд Веры Сизовой. Еще, чего доброго, придется благодарить ее... Она посмотрела на часы: ровно пять. Может быть, Игорь прямо поехал на совещание? Сегодня заключительный день. А часы, вот эти часики — подарок ребят перед отъездом. Кто-нибудь возьмет и наекнет: не оправдала, мол, подарочек.

Она начала прибирать в комнате. Как назло, ей попался под руки сверток с фланелью, купленной для Надежды Осиповны. Широкое, скуластое лицо Надежды Осиповны словно выглянуло из цветного узора и торжествующе подмигнуло. Тоня в ярости отшвырнула фланель в дальний угол.

Не для себя же она старалась! В сущности, лично ее ничего особенного в Ленинграде не ждет. Вернется в КБ копировщицей. Начнет снова переводить с бумаги на бумагу чужие чертежи. Но при чем тут она? Ей самой ничего не нужно. В сотый раз она твердила себе, что готова жить где угодно и как угодно. Все делается ради Игоря. Потому что ему оставаться там — это засохнуть, это идти назад. Ей-то что! Она там, в МТС, все же была фигурой. А вот Игорю там не на чем развернуться. Здесь и «Ропак», и может появиться еще многое... Он сам даже не понимает. Но почему она ре-

шила, что он не понимает? А вдруг для него это все сложится по-иному? Она вспомнила его слова прошлой ночью... А что, если она зря заставила его согласиться? И ему самому ничего этого тоже не нужно? И все это она придумала, сочинила? И он пожертвовал собой ради нее? Не она, а он, он втайне чувствует себя жертвой. И что, если Ленинград не принесет им счастья?

Только теперь, когда все, наверное, уже решилось, она испугалась...

Из Таврического дворца, где происходило заключительное заседание, Игорь ехал на трамвае. Задумавшись, он по привычке сошел на остановке у общежития. Он обнаружил это перед самым подъездом общежития, улыбнулся и вошел.

В комнате были все трое. Чудров собирался в ночную смену. Генька, лежа на полу, разрисовывал плакат. Семен наклеивал на картон фотографию Лосева.

Генька объяснил: ребята из отдела главного механика предложили справить юбилей большого расточного станка. Повесить плакат с таким текстом: «Уважаемый юбиляр! Сегодня исполняется шестьдесят лет вашего пребывания на заводе. Вместо того чтобы уйти еще двадцать лет назад в переплав, вы по воле главного механика продолжаете скрипеть, честно делая все, чтобы снизить выработку и увеличить брак».

— Сверху нацепим портрет Лосева, — сказал Генька. — В обеденный ребята поднесут венки. Никакой возможности нет уже работать на этой развалине, а твой Лосев и не чешется.

— Чего тебя начальство вызывало? — спросил Семен.

— Предложили вернуться на завод.

— Ну?

— Я отказался.

Семен присвистнул. Геннадий уселся на полу, обхватив руками колени.

— Между прочим, это Вера добивалась, чтобы я остался, — сказал Игорь.

Геннадий смотрел на него с необычным волнением.

— Ты это с чего взял?

— Леонид Прокофьевич мне ее докладную показал.

Подошел Чудров.

— Вы как же это, — встревоженно сказал он Игорю, — напрочь отказались?

Семен ткнул Геньку кулаком в живот.

— Видишь какая она! Сама написала!

— Это как же так? — недоверчиво продолжал Чудров. — Вы назад поедете?

— Да, поеду.

— В Коркино?

— А Тоня? — спросил Семен.

— Что Тоня, что Тоня! — вдруг вспыхнул Игорь.

Чудров потянул его за рукав.

— Зарплата у вас там больше или что?

— Не больше! — закричал Игорь. — Да катись ты, не до тебя мне сейчас!

Семен обнял Чудрова за плечи.

— Тихон, друг мой, гулять тебе перед работой надо, плохо ты выглядишь. Резонно?

Чудров пошел к дверям.

— В сомнении все-таки находится, — пробормотал он. Надежда, прозвучавшая в его голосе, возмутила Игоря.

— Никаких сомнений, — жестко и устало сказал он, вдогонку. — Это ты в сомнении. А я уезжаю потому, что хочу, потому, что надо.

— Ну что, Тихон? — крикнул Генька. — Вот тебе и шатуны!

— Какие шатуны? — спросил Игорь.

— Да так, был тут один спор. Послушай. Игорь, бывает, ведь, что со стороны виднее. Может человек увидеть себя со стороны?

— Ты о чем?

— Так... вообще. Ну, к примеру, Леониду Прокофьевичу может быть виднее?

— Виднее или не виднее, а я его убедил, — сказал Игорь и похлопал Геньку по плечу. — Хватит, братцы, я теперь и сам мало-мало разбираюсь, где голова, где хвост.

Семен любовно посмотрел на него.

— Здорово ты Чудрову вспрыснул! Полный переворот психики.

Геннадий продолжал, думая о своем:

— А бывает так, что и переворот кругом идет, все к лучшему, а для человека уже поздно?

Семен внимательно посмотрел на него.

— Дошел до полной диалектики. Я думал ты рад за Веру.

— Я рад.

— Так чего ж ты киснешь?

— Сам не знаю. Ничего у меня не получается. Вроде все хорошо — и ни к чему. Уеду я, братцы.

— Ну чего он городит, Игорь? — растерянно сказал Семен. — Ну, объясни ему.

В этой комнате, где стояла кровать, на которой Игорь часами лежал, уткнувшись в подушку, а они утешали его, учили жить, работать, — в этой комнате они теперь обращались к нему как к старшему.

«Мы привыкли, что у нас все должно получаться, — думал Игорь, — но не всегда так бывает. Иногда надо уметь отказаться и остаться самим собой».

Тоня была в бешенстве, никогда еще он не видел ее такой. Когда он попытался ее обнять, она, покраснев от гнева, оттолкнула его кулаками в грудь изо всех сил.

Как он посмел отказаться? Не посчитавшись с ней! Наперекор всему! Она чувствовала себя ос-

корбленной, униженной. Сомнения, которые только что мучили ее, исчезли; теперь для нее существовало единственное, всепоглощающее желание: во что бы то ни стало, любой ценой заставить его подчиниться!

— Но ведь я тебе говорил, — робко оправдывался он.

— Ничего подобного! Ты ничего не говорил, я тебе поверила.

— Ну как же, помнишь...

Он стоял посредине комнаты, противная, потерянная улыбка липла к его губам, как застывший жир. Ему было нестерпимо жаль Тоню, он готов был покорно принять любые ее попреки. И что было хуже всего: слушая ее, он все время ощущал в себе что-то огромное, счастливое, уверенность и спокойствие, накопленные от всех встреч с дядей, с ребятами, с Ипполитовым. И от этого тайного непоколебимого счастья и сознания своей правоты он чувствовал себя виноватым перед Тоней, и даже жестоким, и жалел ее.

— Не помню, ничего не желаю помнить! — иступленно твердила Тоня. — Если бы ты меня как следует попросил, я, может, и согласилась бы. А ты меня ни о чем не просил. Ты не подумал обо мне. Тебе наплевать на меня. Ты эгоист!

Он не выдержал.

— Точно так мне говорил Ипполитов.

— Ипполитов? — Она вспыхнула. — Ну что же! Он по крайней мере... Ты эгоист, эгоист! — злорадно повторяла она.

— Замолчи сейчас же!

— Не замолчу. Ты эгоист!

— Ну, хорошо.

— Что хорошо? Ах, хорошо? Ну, так можешь уезжать.

— Что это значит?

— А то, что я останусь.

— Как?

— Вот так, я останусь. Я навсегда останусь, — выпалила она.

— И пожалуйста. Видно, тебе дороже комната и все это...

— Мне? И ты смеешь!.. После того как я поехала!.. Не смей подходить ко мне, я тебя ненавижу!

— Ты будешь там несчастлива. И тебе там нечего делать. Все в точности по Ипполитову, — с наслаждением сказал он.

— Да, да, — подтвердила она с тем же ненавидящим наслаждением. — А ты бы хотел, чтобы я там сидела, перебирала бумажки и стирала твои рубашки?

— Не обязательно. — Он сунул руки в карманы, покачался на носках. — Можно и слесарем поработать. Полезно для будущего инженера.

— Я сама знаю, что полезно. Между прочим, слесарем и здесь я могу поработать. Еще лучше.

— Значит, ты думаешь только о себе. Где тебе получше.

— Это я? Я только о себе?! — Она даже задохнулась от гнева. — Ну, если так, то нам нечего... Тогда все.

Она ненавидела его всего, его узкое, холодное лицо с прозрачно-голубыми льдинками глаз, неуклюжий пиджак с ватными плечами и то, как Игорь стоял посреди комнаты, не зная, куда девать руки. Напрасно она искала в нем страх перед ее угрозой, даже это не остановило его, в его огорчении она прочла жалость к себе.

— Я остаюсь, — повторила она.

— А я?

— А ты уезжай.

— А ты? Что ты будешь делать? — ошеломленно спрашивал он, вдруг поняв, насколько это серьезно.

— Это уж моя забота.

— Тоня, но я же не мог иначе. Кто там без меня... Я же там нужнее, чем здесь.

Она не слушала его оправданий. Она вдруг с ужасом почувствовала: несмотря на его жалкий, приниженный вид, она бессильна перед ним... Она могла причинить ему горе, сделать его несчастным, но она не в состоянии заставить его остаться. Незнакомое унижительное чувство беспомощности перед чем-то совершенно незыблемым, что стояло за всеми его словами, возбуждало еще большую ненависть к нему.

— Но ведь тебе самой там нравилось. А стены? Ну кто их без меня будет там устанавливать?

В передней зазвенел звонок. Они прислушались.

— Это, наверное, ребята, — растерянно сказал Игорь.

Тоня смахнула слезы.

— Все. С этим вопросом все, — сказала она и ушла в ванную обмыть лицо.

Пришли Семен, Катя и Генька с Верой. Все собрались сразу идти в Дом культуры, но Игорь задержал их:

— Посидим хоть десять минут. У нас бутылка вина есть. Разопьем.

Игорь заставил их сесть. Тоня накрыла на стол. Она держалась спокойно, приветливо и усиленно предлагала Вере закуску.

— Вера, тебе большое спасибо, — сказал Игорь.

— Не стоит. Тем более, что тебе не пригодилось.

— Все равно.

— Вы уезжаете?

Он кивнул.

— Это ты хорошо решил.

Генька вздохнул.

— Завидую я тебе. Махнуть бы куда-нибудь! Я все чаще об этом думаю.

— Ну что, выпьем? — предложил Семен.

— Тонечка, у вас там грибы растут? — спросила Катя. — Обожаю ходить за грибами.

Игорь посмотрел на Тонию.

— Не знаю. Понятия не имею, — сказала она.

— Игорь-то вконец расстроил нашего Тихона. — Семен захохотал и принялся рассказывать про Чудрова.

— Мало я ему выдал, — перебил его Игорь. — Этого бы Чудрова к нам на совещание. Нам обещали специальные машины для наших болотистых мелкоконтурных полей. Тогда пойдет совсем другая житуха. Эх, братцы, до чего же богатые есть районы! А уж про юг и говорить нечего. У нас рядом, на Псковщине и в Ленинградской, есть миллионеры... Конечно, ленинградцы здорово помогают своим колхозам... Но ничего, мы и сами, без вас дотянемся. Во-первых, налог снимают. Да, да. Во-вторых, вообще, братцы, перспектива. — Он прищурился, вспоминая энергичное, открытое лицо секретаря ЦК и то увлечение, которым этот человек заразил весь зал Таврического дворца, когда развернул планы на ближайшие годы. — Не на Украину надо оглядываться, наше Коркино должно Соединенные Штаты перегнать! Вот какое соревнование предстоит!

Рассказывая, он словно призывал этого человека к себе на помощь, как зовут в трудную минуту товарища.

— Все в колхоз! — Вера улыбнулась.

— Да, да, вот именно, — подхватила Тоня, покраснела и тотчас сделала насмешливую гримасу. — Что значит посидеть на совещании!

Все замолчали.

— Вечер, а как светло, — сказала Катя. — Уже белые ночи.

— Скоро ожидается противостояние Марса, — сказал Семен.

Вера наклонилась к Геннадию.

— Что с Тоней? Они договорились?

— Он не должен ей поддаться, — тихо проговорил Геннадий. — Это было бы черт знает что.

— Но ведь он ее любит!

— Тем более.

Вера усмехнулась и, не глядя на Геннадия, спросила вполголоса:

— Ты, кажется, собрался уезжать? В деревню или на новостройку?

— На новостройку, — медленно проговорил Геннадий.

— Ты разве не передумал?

— Зачем? Это ничего не даст. — Он посмотрел на Тонию. Если бы Вера хоть немного походила на нее. — Может быть, поеду на Камчатку.

— Что же там?

— Все равно у нас с тобой...

— Что же там?

— Там будут строить электростанции на подземном тепле.

— Очень интересно.

— Почему бы тебе не произнести речь о том, что нам необходимо создавать энергетику на окраинах, укреплять кадрами...

Она сидела прямо, устремив взгляд в стену.

— Все так, все правильно, — пробормотала она, и Геннадий заметил, как губы ее задрожали.

— То, что ты рассказывал, замечательно, — громко сказала Вера, обращаясь к Игорю. — Но, по-моему, мы все же часто недооцениваем трудности.

— Еще чаще мы переоцениваем их, — сказал Игорь.

Тоня выпрямилась. Каждая его фраза таила угрозу, в любую минуту он мог открыть: «Вот Тоня не едет со мной». И все обернулись бы к ней. Да, она не едет, да, она остается, потому что он разлюбил ее. От этого напряженного ожидания у нее все болело внутри. Мускулы рта сводило от боли, когда она улыбалась, что-то отвечала, потчевала. «Не любит, — снова думала она. — Если он может притворяться, рассказывать о своих мастерских!.. В такую минуту! Чужой, совсем чужой». Зачем он ей? А что, если она ошиблась, еще год назад ошиблась, приняла его совсем за другого? А на самом деле это маленький человек, который занят только собой?

— Нет, нет, — услышала она голос Геньки, — правильно прожить нелегко, во-первых, надо найти работу, которую любишь...

— Это не всегда удается, — сказал Игорь. — Надо не работу искать, а себя в работе. Тогда можно встать и за тиски и вкалывать и год и три. Сколько нужно.

— Обязательно надо за что-то бороться. — Это сказала Вера, и скрытое волнение размягло строго черты ее лица.

Семен положил вилку, вытер рот.

— Я вообще удивляюсь, откуда берутся несчастливые люди, — самоуверенно объявил он. — А бывают личности, которые за всю свою жизнь так и не находят счастья.

Все рассмеялись, и даже Тоня улыбнулась. Это же самое Игорь и она говорили друг другу ровно год назад, в такую же белую ночь.

Катя решительно поднялась.

— Терпеть не могу философии! Эти мужчины получают удовольствие, болтая о счастье, вместо того чтобы идти на вечер. Мы же опаздываем!

— Вы шагайте. Мы скоро придем, — пообещал Игорь. — У нас тут еще дело есть...

Комната имела двадцать два квадратных метра. Это была крохотная, тесная комната. Пять метров в длину и четыре сорок в ширину. В ней невозможно было разойтись и укрыться друг от друга. Четыре голые стены ее давили, замыкаясь камерой. Она источала горечь воспоминаний.

Они сидели за опустевшим столом, уставленным грязными тарелками, как в ту ночь после свадьбы, когда они остались вдвоем.

— Тоня, я, может, наговорил тебе лишнего, но

ты пойми суть... Ведь ты не можешь остаться. Я там не могу без тебя. Как же мы можем врозь?..

— Оставайся ты.

— Тоня.

— Тебе нужны новые мастерские, а не я. Ты в восторге от своей твердости. Только, знаешь, перешагнуть через любовь — это не подвиг.

— Что ты говоришь? — Он поморщился, как от боли.

— Ну, ладно, сколько можно! — Она встала, начала собирать тарелки. — Твоя жена — обывательница и мещанка. Все ясно. Можешь спокойно отправляться на вечер.

— Я сегодня уеду.

— Пожалуйста. Тогда я пойду на вечер.

— Понятно. — Он усмехнулся. — Все понятно.

Она продолжала убирать со стола. Он пошел в ванную, взял свою мыльницу, зубную щетку. Положил в чемоданчик. Это был совсем маленький спортивный чемоданчик, с которым он когда-то ходил на тренировки и в техникум. Тоня отнесла тарелки на кухню, вернулась и, стоя у окна, начала причисываться.

— Ну, вот и все, — сказал он.

Она не обернулась. Она смотрела на свое отражение в стекле, прилаживая половчее кружевной воротничок.

— Тоня! — В холоде его голоса чувствовалось усилие; как будто он выполнял какой-то последний долг перед ними обоими.

Раздались шаги. Тоня слышала, как у дверей Игорь остановился. Может быть, он смотрел на нее, может, окинул взглядом комнату. Что выражали его глаза в эту минуту? Спина ее похолодела...

Дверь закрылась, и Тоня почувствовала, как воздухом шевельнуло волосы. Потом хлопнула дверь в подъезд. А она еще стояла, не понимая, как же так, почему она не может представить себе, каким было его лицо в ту минуту и зачем он остановился перед дверью.

Она чуть выглянула в окно. На улице накрапывал частый, мелкий дождь. Тоня увидела, как Игорь подошел к автобусной остановке. Синий плащ висел у него через плечо. Игорь стоял в очереди. Тоня отодвинулась в глубь комнаты, боясь, что он поднимет голову и увидит ее. Но он стоял неподвижно, и плечи его и чемоданчик становились блестящими от дождя.

Тоня переобулась, взяла лакированные лодочки, села на кровати, устало закрыла глаза. Что он имел в виду, сказав: «Понятно, все понятно»? Она повертела туфли, силясь вспомнить, зачем держит их в руках. Их надо завернуть в бумагу, чтобы взять с собой на вечер. Она вернулась к окну. Шел дождь, и на остановке уже никого не было. «Что ж это? — ужаснулась она. — И это все? Но я ж ему ничего не сказала!» Как слепая, она заметалась по комнате, выбежала в коридор, снова вернулась.

Время шло, она чувствовала каждую утекающую секунду. Нестерпимое ощущение уходящего времени поглощало все ее силы. Уходило не время, уходило то самое дорогое, что когда-то поселилось с ними в этой комнате.

В углу она наткнулась на сверток с фланелью Надежды Осиповны, бросила туфли, схватила сверток и побежала, в чем была, на улицу.

Она остановилась посреди мостовой, подняла руку. Машины мчались мимо, обдавая ее брызгами. Дождь усилился, бурный, с раскатами грома, летний дождь. Платье намокло, холодно облепив кожу.

Наконец, скрипнув тормозами, остановилось такси.

«Понятно... Что ему понятно? А может, он решил, что я его не люблю? Ну да, конечно». Вдруг она увидела себя его глазами в ту минуту, когда он, уходя, смотрел на нее, а она стояла у окна, прихорашиваясь. И ничего не ответила ему. Не сказала, что его любит. Она должна была сказать, что любит его. Это все потому, что она промолчала. Он уверился, что она не любит его, и он садится сейчас в поезд с этой мыслью и уедет с этой ужасной, несправедливой уверенностью. Он не имел никакого права так думать.

Возле вагона, болтая с проводницей, стоял Ахрамеев. Завидев Игоря, он крикнул:

— Двигай сюда! И ты сегодня едешь? А Тоня где?

— Она тут задержится еще.

— И не провожает?

— Занята она.

Ахрамеев внимательно посмотрел на него.

— Задания учебные ей надо еще получить. Понимаешь, у нее масса дел. Ей обязательно надо получить задания. Все студенты получают задания, — сказал Игорь.

— Давай чемоданчик, — сказал Ахрамеев. — Пошли.

В вагоне света еще не зажигали. Вполнакала тлела дежурная лампочка. Они сели к окну. На перроне нарастала предотъездная суета.

Ахрамеев развернул вечернюю газету с материалами совещания.

— Вот когда глазами читаешь, совсем не то.

А когда живого человека слышишь, совсем другое впечатление и как-то понимаешь в два раза больше.

— Да, конечно, — сказал Игорь и вдруг встал.

Вдоль поезда, расталкивая встречающих, заглядывая в окна вагонов, бежала Тоня.

Увидев его, она остановилась посреди перрона, прижала сверток к груди. Ее толкали чемоданами, чьи-то головы то и дело заслоняли от нее окно. От быстрого бега она задыхалась, не могла ничего крикнуть. Ахрамеев тоже увидел ее, помахал рукой, застучал в стекло.

Следовало подойти, но она стояла неподвижно. Заверещал свисток, Игорь подался назад. Была секунда, когда, казалось, он выбежит из вагона, но, прежде чем поезд тронулся, он снова прильнул к окну. Ему помешала не больная нога, не пассажиры в проходе, а что-то другое.

Разделенные тусклой пленкой стекла, они, побледнев, смотрели друг на друга. Игорь что-то искал в ее глазах, и она старалась помочь ему, открывая себя всю. Окно сдвинулось, удаляясь, скользя вдоль перрона...

Игорь задергал раму, потом рукавом начал быстро протирать стекло, не отрывая от нее взгляда. В уходящем косом блеске окна она все яснее, все четче различала его бледное лицо, глаза, упрямые морщины на переносице, как будто он не отдалялся, а приближался.

Среди всех прощающихся, провожающих только они двое словно встречали друг друга.

Перрон опустел.

Она все стояла, оцепенело стиснув мокрый сверток. Сталь рельсов, казалось, еще дрожала, две ясные, блистающие линии, что уходили, сливаясь, вдаль, всегда вместе, невозможные, ненужные одна без другой.

Дождь гулко стучал по доскам перрона. Вспыхнул красный огонь семафора. Капли дождя стекали по ее неподвижному лицу. Она ведь знала, что он не сойдет. Никогда раньше она не ощущала такую невозможную полноту любви, такого острого, непонятного еще чувства оттого, что он именно такой, и оттого, что он не вышел, не остался, не уступил. Только такой он был ей нужен.